

Марк АЛДАНОВ

ЧЕРТОВ МОСТ



Мыслитель

Марк Алданов

Чертов мост

«ВЕЧЕ»

1924

Алданов М. А.

Чертов мост / М. А. Алданов — «ВЕЧЕ», 1924 — (Мыслитель)

ISBN 978-5-4444-1366-1

Роман «Чертов мост», созданный выдающимся русским писателем и философом Марком Алдановым, рассказывает о героическом переходе русской армии через Альпы. Союзники России по антифранцузской кампании, встревоженные успехами русской армии, потребовали ее вывода из Северной Италии, вдобавок лишив обещанной поддержки и указав неверное направление похода. Однако под руководством гениального полководца Александра Васильевича Суворова русские воины не только совершили этот беспримерный рейд, сумев в нескольких сражениях разбить превосходящие силы французов, но и фактически способствовали возникновению в Европе нового государства – Швейцарской Конфедерации. Данный роман входит в тетралогию «Мыслитель», охватывающую огромную панораму мировой истории от Французской революции и царствования Павла I до заката Наполеоновской империи.

ISBN 978-5-4444-1366-1

© Алданов М. А., 1924

© ВЕЧЕ, 1924

Содержание

Об авторе	6
Часть первая	8
1	8
2	11
3	14
4	17
5	21
6	26
7	31
8	32
9	34
10	37
11	41
12	43
13	46
14	48
Часть вторая	50
1	50
2	52
3	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Марк Алданов

Чертов мост

© ООО «Издательство «Вече», 2013

Об авторе

Прозаик, публицист и философ Марк Алданов принадлежит к числу наиболее интересных и очень плодотворных писателей первой послереволюционной волны русской эмиграции. Марк Александрович Ландау (такова настоящая фамилия писателя) родился 26 октября (7 ноября) 1886 г. в Киеве, в семье богатого и хорошо образованного сахарозаводчика Александра Марковича Ландау. Учился маленький Марк в классической гимназии, а по ее окончании – в Киевском университете, причем сразу на двух факультетах: физико-математическом и юридическом. Страстью молодого М. Ландау была химия. Этой науке он посвящал много времени. Доходы семьи позволяли отправить молодого человека в Европу. Во время этих странствий Марк увлекся европейской историей, познакомился со многими интересными людьми, с политиками и даже с государственными деятелями. Побывал он и в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

После начала Первой мировой войны М. А. Ландау вернулся в Россию, работал по специальности химика, публиковал статьи в профессиональных журналах; одновременно он начал работать над двухтомным литературно-критическим трудом «Толстой и Роллан». Будущий писатель любил сочинения Льва Толстого и преклонялся перед его гением. В 1915 г. была готова первая часть книги, посвященная как раз Толстому. Рукопись второй части погибла в годы Гражданской войны, и к ней Алданов больше не возвращался, тогда как первый том впоследствии переработал в книгу «Загадка Толстого». В 1917–1918 гг. Марк Алданов пишет книгу диалогов на общественно-политические и философские темы, которую символически называет «Армагеддон». С той поры битва Сил Добра и Сил Зла стала основным мотивом творчества писателя, причем Злом, по крайней мере, в отношении России, Алданов считал революционеров, какого бы оттенка ни были их убеждения. Не приняв русскую революцию, он воспользовался первым удобным случаем и эмигрировал. Еще в 1918 г., будучи секретарем Союза возрождения России, объехал ряд европейских столиц, пытаясь получить реальную помощь для борьбы с большевиками. Кажется, это было единственное политическое деяние Алданова в эмиграции, если, конечно, не считать его работы как публициста в газетах «Дни» (Берлин), «Последние новости» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и других. С конца 1920-х гг. М. Алданов состоял в рядах нескольких масонских лож и достиг высоких степеней масонской иерархии. Писатель не отказывался и от своего увлечения химией, выпустив в 1937 и в 1951 гг. серьезные монографии по химии, получившие положительную оценку ученого сообщества. Но основные силы Алданов отдавал написанию исторических романов – поприщу, на котором он добился недюжинного успеха. Первой его заметной работой в этом направлении стала тетралогия «Мыслитель» (1921–1927), посвященная тридцатилетнему отрезку французской истории от Великой революции до окончания Наполеоновских войн: «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров». Затем последовала трилогия о Первой мировой войне и русской эмиграции: «Ключ», «Бегство», «Пещера». Для исторических романов М. Алданова характерны сложно построенный сюжет и яркие, образные характеристики действующих лиц, в том числе – реальных исторических персонажей.

Годы Второй мировой войны Алданов провел за океаном, в США, где создал одно из лучших своих произведений – роман «Истоки», посвященный революционному движению 1870-х гг. (опубликован в 1950 г.). После войны писатель вернулся во Францию, где несколько лет работал над «Повестью о смерти» (1953), посвященной последним годам жизни Оноре де Бальзака. Эту книгу писатель считал одним из самых значительных своих произведений. Нельзя не отметить книгу «Ульмская ночь. Философия случая» – крупную философскую работу М. Алданова, вышедшую в том же 1953 г. В этой работе автор опровергает идею о прогрессивном движении истории, одновременно отрицая историческую предсказуемость общественных

явлений. Алданов был знаком и поддерживал тесные отношения с И. Буниным, В. Ходасевичем, В. Набоковым и другими видными деятелями российской эмиграции. Умер Марк Александрович 25 февраля 1957 г. в Ницце. Его книги пришли в Россию (тогда еще – СССР) через три десятилетия. Произведения Алданова стали открытием для отечественного читателя, и, надо сказать, приятным открытием. Первое советское собрание сочинений писателя вышло в 1990 г.

Анатолий Москвин

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ МАРКА АЛДАНОВА:

- «Святая Елена, маленький остров» (1921)
- «Девятое термидора» (1923)
- «Чертов мост» (1925)
- «Заговор» (1927)
- «Ключ» (1929)
- «Бегство» (1932)
- «Пещера» (1936)
- «Начало конца» (1938)
- «Истоки» (1950)

Часть первая

1

Поручик Юлий Штааль вошел в кордегардию и расположился на дежурство. Отстегнул шпагу, хоть это не полагалось, и положил ее на табурет, потянулся, зевнул. Подошел к окну – за окном не было ничего интересного, искал глазами зеркало – зеркала в кордегардии не имелось. Уселся поудобнее в жесткое кресло с изодранной ситцевой обшивкой, из-под которой лезло что-то серое, грязное, и расстегнул мундир, подбитый не саржею, а полусукном: поручик был одет по моде; под мундиром носил жилет, шитый по канифасу разноцветными шелками; а рубашка на нем была английская шемиза в узенькую полоску, с тремя пуговицами.

Вынул из кармана тетрадки газет и начал читать с объявлений: «По Сергиевской под номером 1617 продается серой попугай, который говорит по-русски и по-французски и хохочет, а также газетовая с собольей опушкой епанечка за 170 рублей...» – Дорого... «В Бецковом доме отдаются покои для дворянства, с драгоценными мебельями, без клопов и протчих насекомых...» – Не требуется... То есть, пожалуй, и требуется, да не по карману... «Некоторой слепой желает определиться в господский дом для рассказывания давних былей и разных историй, с повестями и удивительными приключениями, спросить на Бугорке в доме купца Опарина...» – Бог с ним, с некоторым слепым... «Продажная за излишеством славная девка, 18 лет, знающая чесать волосы, равно и пятки, всему нужному обучена, шьет в тамбур и золотом и собою очень хороша, во уверение же отдается покупателю на три дни рассмотреть, о которой на Петербургской стороне близ Сытного Рынку, против Пискунова питейного дому, на углу спросить дворника Сендюкова...» Штааль задумался. Он, собственно, не собирался покупать девку, но довольно долго воображал, какова славная девка собою и не взять ли ее, в самом деле, на три дня рассмотреть, а там видно будет? На случай записал длинный адрес. Затем прочел об изобретателе, который за пять рублей делал из кошки танцмейстера и учил ее писать на четырех языках... «Фу, какой вздор!..»

Поручик бросил газету и развернул другую – немецкую, серьезную: «*Berlinische Zeitung von Staats und gelehrten Sachen*».¹ Как человек образованный, он следил за политикой по иностранным ведомостям. Полюбовался виньеткой – на ней были изображены два подпоясанных венками бородастых человека с дубинами, – что за люди? – пробежал отдел «*Publicandum*»² – очень уж мелкая печать, читать скучно, – просмотрел политические новости... Триполийский паша объявил войну императору, неаполитанскому королю и еще другим монархам... Генерал Буонапарте одержал над Вюрмсером новую викторию... Газета писала осторожно, но по всему видно было, что виктория настоящая – одних пленных 1100 человек и взято пять пушек. Генерал сурьезный. Штааль почувствовал досаду, читая о победе карманьольтчиков; особенно было досадно, что генерал с трудной фамилией очень молод, всего на четыре года старше его, Штааля. Поручик было нахмурился, но ему не хотелось настраиваться дурно. Он опять подошел к окну: по улице проходил отряд солдат в походной амуниции. Солдаты шли не в ногу и нестройно; сзади на дрожках, называемых гитарой, ехал офицер, – дисциплина и форма в екатерининские времена соблюдались очень нестрого. Штааль подумал, что отряд, верно, идет на север; поговаривали о новой войне с Швецией. Ему захотелось, чтобы началась война, – уж очень надоело тянуть ляжку, – но не со Швецией: кому это интересно? – а настоящая война, с французами, под начальством фельдмаршала Суворова. Только так и можно сделать карьеру.

¹ «Берлинская газета о государственных и ученых делах» (нем.).

² «Объявления» (лат.).

Поручик зевнул, открыл окно, хотя ноябрь был довольно холодный; морщась и зажав рот, далеко высунулся набок, чтобы увидеть, не едет ли карета Баратаева. Кареты не было видно. По противоположной стороне улицы шла не то дама, не то женщина – он не мог издали разобрать. Оказалась дама, но некрасивая, и Штааль почувствовал то наивное разочарование, которое в таких случаях испытывают мужчины. Он закрыл окно, вздохнул, вернулся к своему креслу, затем лениво потянулся к полке над креслом, на которой от прежних дежурств остались пустые бутылки да еще лежало в беспорядке несколько книг – библиотека кордегардии, предназначавшаяся для развлечения дежурных офицеров. Он стал просматривать книги одну за другой. «Несчастливые любовники, или Истинные приключения графа Коминжа, наполненные событиями весьма жалостных и нежные сердца чрезвычайно трогających»... «Новоявленный ведун, поведающий гадания духов; невинное упражнение во время скуки для людей, не желающих лучшим заниматься»... «Путешествий Гулливеровых 4 части, содержащий в себе путешествие в Бродинягу, в Лапуту, в Бальнибары, в Глубдубриду, в Лугнагу, в Японию и в Гуингскую страну»... Нет, решительно ему не хотелось читать. А ведь когда-то читал запоем.

Штаалю не надолго, на минуту, стало жаль прошлого времени: и жизнь в шкловском училище, и первый приезд в Петербург, и даже приключения в революционном Париже теперь в воспоминании казались ему радостными и забавными. Военная служба, на которую он поступил по возвращении в Россию, скоро надоела молодому человеку. Красивый конногвардейский мундир радовал его сердце только два дня; на третий день он привык, а дисциплина, хоть и легкая, его тяготила. «День занимает служба – где уж тут читать книги? Да и денег лишних нет для покупки книг»... Денег у него было действительно немного. Между тем Штаалю не хотелось богатства, ему было нужно богатство. Другим оно не было нужно или, во всяком случае, значительно меньше. «Зачем старому дураку Александру Сергеевичу Строганову его дворец и земли? Зачем груды золота графу Безбородко?»

Штааль задумался о том, как бы сам он жил, если б был богачом. Имел бы дом в Петербурге, – да вот, хорошо купить Строгановский дворец на Невском, – имел бы дачу по Петергофской дороге, имел бы, разумеется, подмосковную (ему нравилось это слово). Были бы у него десятки красивых девушек – управляющий подбирает бы из крепостных... или нет, подбирает бы лучше он сам. И разумеется, немедленно выкупил бы Настеньку у Баратаева. Завел бы свой театр – Настенька была б у него первой актрисой... «Да... только на мои средства строгановского дома не купишь... Смерть надоела бедность... И надежд на богатство не видно. В мирное время карьеру у нас можно сделать только одним способом...» Штааль вдруг улыбнулся, вспомнив, как великий князь Константин Павлович, не очень давно, нечаянно в Таврическом дворце застал врасплох государыню с молоденьким графом Валерьяном Зубовым. Это приключение очень забавляло пятнадцатилетнего великого князя, и он рассказывал о нем с разными подробностями всякому, кто желал слушать (а слушать желали многие): «Бабушка-то, бабушка! – повторял с хохотом великий князь. – Что-то скажет о братце Платон Александрович, а? Никто, как свой...» Штааль улыбался, вспоминая рассказ взбалмошного великого князя, завидовал Валерьяну Зубову (бедный, каково ему теперь без ноги!) и вместе удивлялся, представляя 67-летнюю государыню: «Как он может? Я не мог бы! Опять же, как благородным путем выйти в люди? Честно служить, честно жениться, быть верным жене, дослужиться в пятьдесят лет до генеральского чина, – слуга покорный, так в скуке прожить хорошо для немца... Да... А чудак, однако, этот Баратаев... Не поймешь его... Розенкрейцер, что ли, или фармазон? Революцию ненавидит, но государыню тоже, кажется, не жалует... Алхимист... И как он смешно говорит, когда по-русски: при Елизавете Петровне так говорили или при Петре... А Настенька ужас как мила... Живет он с ней или не живет? Не иначе как живет. А может быть, нет?»

Он почувствовал, что по уши влюблен в Настеньку и что его мучит ревность. Настенька была артистка домашнего театра Николая Николаевича Баратаева. На театре этого богатого

барина должен был играть вместе с другими молодыми людьми и сам Штааль, который как раз подыскивал для себя пьесу с подходящей ролью. Ему особенно нравилась роль дон Альфонсо, вельможи гишпанского, в слезной драме Хераскова «Гонимые». Он еще раз хотел в этот день просить Баратаева поставить у себя на театре слезную драму «Гонимые», с тем, разумеется, чтобы Зеилу играла Настенька. Штааль знал драму почти наизусть и некоторых трогательных сцен у пещеры на необитаемом острове не мог вспомнить без слез; особенно ту из них, где дон Альфонсо, вельможа гишпанский, кричал Зеиле: «И ты моего злодея дочь учинилась!..» Молодой человек представлял себе, как Настенька с распущенными волосами приходит в беспамятство и как он обнимает ее колени с криком: «Убийца, смотри на плоды твоей свирепости!..»

Обожженный мыслью о коленях Зеилы, Штааль снова поднялся с кресла и прошелся по комнате. «Да, для этого можно прослушать весь вздор алхимиста. Поташит в лабораторию, пойду в лабораторию. Философический камень так философический камень...» Штааль почувствовал, что его заливают неудержимая радость. Он швырнул книгу на пол и неожиданно сделал несколько па из минавета а-ларен, напевая не совсем верно:

Ты скажи, моя прекрасна,
Что я должен ожидать?

2

«Пади, пади!..» – раздался с улицы крик на отчаянно высокой ноте (мальчиков-форейторов с высокими голосами, наводившими испуг – не случилось ли несчастья? – очень ценили владельцы богатых экипажей). Доски, которыми была выстлана улица, затрещали. Штааль поспешно подошел к окну. К кордегардии подъезжала огромная, о семи зеркальных стеклах, обложенная по карнизу стразами карета. Кучер сдерживал четверку белых лошадей. Два лакея в коричневых ливреях с басонами по борту, как у прислуги особ, следующих за двумя первыми классами, соскочили с запяток, откинули с шумом подножку и почтительно высадили барина, приподняв левыми руками треуголки. Проходивший мимо мужик с испугом остановился и снял шапку. Штааль не без смущения почувствовал, что и ему, как мужику, внушает уважение чужое великолепие. Лакеи, округлив спину и руки, подвели барина к кордегардии и распахнули широко дверь.

– Здоровы ли вы, сударь? – осведомился учтиво Штааль.

– Здоров. И вам желаю доброго здоровья наипаче, – отрывисто ответил, снимая шубу, Баратаев. Это был высокий, очень некрасивый, но осанистый человек лет пятидесяти. В его странной наружности тотчас останавливали внимание голый череп с двумя симметричными плоскими площадками на темени, огромные, неправильно поставленные уши, ярко-красные губы, резко выделявшиеся на лице серого цвета, и всего больше – тяжелые, нечасто мигающие глаза.

– Здоров, – повторил он садясь.

Штааль выразил по этому случаю живейшее удовольствие. Одного вопроса о здоровье показалось ему, однако, мало, и он еще спросил, почти бессознательно подделываясь под старинную речь своего гостя:

– Менажируете ли, сударь, себя в работе? Нет важнее, как разумные экзерциции на воздухе. По себе скажу...

Но он так и не сказал по себе ничего толком: тяжелые глаза Баратаева неподвижно остановились не мигая на лице Штааля. Молодой человек вдруг почувствовал крайнее смущение. Помявшись в запутанной фразе, он оставил тему о здоровье и несколько заговорил об успехах французов, о новой виктории генерала Буонапарте. Баратаев все глядел на него молча, не приходя ему на помощь, затем вдруг точно опомнился, мигнул (что успокоило Штааля) и принял разговор, как будто вспоминая чужие, неинтересные слова, которые нужно было говорить, чтобы отделаться:

– Сказывают люди, сей Буонапарте есть мужчина исполинского росту и, хоть одорукий, но силы непомерной, так что по две подковы зараз без малого труда ломает, как блаженный памяти царь Петр иль как Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, – сказал он равнодушно (Штааль почмокал губами в знак удивления). – Впрочем, может, люди и врут...

Опять оборвался разговор.

– Сколь, однако, тлетворен дух времен! – сказал наудачу Штааль, не совсем хорошо зная, кого и что он имел в виду. – Смеются народы гневу Божию, – не получив ответа, добавил он уже с некоторым отчаянием.

– Прилепились, сударь, к умствованиям паче меры легким, – ответил Баратаев. – Игра пустая, скажу, невеликого разума. Не вижу любомудрия над загадками мира неудоборешимыми. Вот о том и речь к вам вести намерен как к юноше молодому. Известно мне стало, что, невзирая на небольшие годы, уже видели вы немало... Что причиною было вашего вояжа в Париж, не ведаю. То ли антузиазм к учениям более мерзким, чем дерзким, к духу свободолюбия ложного и равенства мнимого? Но мыслю, на вас глядя, злых намерений иметь были неудобны. Может, просто вертопрашили и шалили?

– Ведь я как попал в Париж, – поспешно заметил Штааль, слегка покраснев. – Это целая гиштория (уже больше никто не говорил «гиштория», но Штааль чувствовал, что так будет лучше).

Он в тысячный раз рассказал о своей поездке в Париж. Рассказывал он ее не совсем правдиво – не то чтобы лгал, но кое о чем забывал, кое-что приукрашивал. Штаалю так часто приходилось рассказывать о Французской революции, что он уже почти не менял выражений рассказа, который выходил у него очень связным, занимательным и эффектным. Баратаев слушал молча. Когда Штааль окончил, гость заговорил снова. Штаалю было скучно, но сам он показал себя в лучшем свете и теперь предпочитал молчать: рассказ о путешествии по Европе был его самым выигрышным номером. Баратаев говорил так же старомодно, но еще более туманно и загадочно, чем всегда. Штааль многого не понимал и даже не мог сообразить, о чем, собственно, идет речь: об алхимии или о спасении души? Но это его не огорчало. Его занимал вопрос: чего хочет от него этот странный человек? Занимали также внимание Штааля симметричные площадки на темени гостя. Он думал, что на эти площадки можно положить по пятаку, и пятак как раз приляжет плотно и не слетит с неподвижной головы Баратаева... Но Штааль чувствовал, что больше ничего смешного нет в госте и что даже про себя очень трудно (а хотелось бы) установить к нему ироническое отношение.

Баратаев, недавно с ним познакомившийся, сам назначил ему свидание в этот день. Штааль, стыдясь своей бедной квартиры, пригласил его в кордегардию, как часто делали офицеры екатерининского времени. Был немало тем польщен, что знатный, богатый пожилой человек отдает ему, мальчишке, визит: очень желал также получить от Баратаева постоянное приглашение на дом. К этому, по-видимому, и шло дело. Баратаев как раз заговорил об отсутствии у него сотрудников.

«Меня, что ли, он зовет в сотрудники? – мелькнула догадка у Штааля. – В какие же сотрудники? За мной, впрочем, дело не станет. Только как же театр и Настенька?»

– Да, сударь, в наш век мало кто жаждет сердцем истины, – сказал он хоть не совсем твердо, но все-таки более уверенно, чем прежде. – Обуял души людей Луцифер мирской суеты.

Луцифера мирской суеты Штааль никогда не решился бы пустить иначе как в разговоре с розенкрейцером. Баратаеву, по-видимому, не понравилась его фраза. Он прошел взглядом по лицу молодого человека и молча взял с табурета (руки у него были огромные и потому страшные) книгу «Новоявленный ведун». Штааль смутился и покраснел. Посетитель перелистал томик и отложил его в сторону.

– Прелегкомысленное сочинение, – пробормотал Штааль.

– Вы еще молоды, – сказал Баратаев. – Доживши до старости моих дней, не будете читать подобного, но к другому потянетесь бесспорно. Молодость немалых сует притчина. С годами, сударь, когда обманетесь суетою пустого счастья, сколь многое пройдет, видя смерть неминуему: и легкомыслие, и бездельная корысть, и горделивость роскошелюбия...

«Сам-то в карете ездись – пять тысяч дешево, – подумал Штааль. – Надоели мне твои проповеди... Подарил бы мне своих лошадок, уж я на себя возьму грех роскошелюбия, так и быть».

– Но сударь, естли вправду чувствительна душе вашей ее милость, – сказал хмуро Баратаев, – то в мирознании могли бы найти путеводителей... О науке древнейшей и таинственной говорит мудрый Соломон: «внемлите, я царственное глаголю»...

Он помолчал, затем начал снова:

– Намерен я, сударь, в немедленном времени убраться в земли чуждые. В сей вояж и вас взял бы с охотою. А естли вам того имение не дозволяет, то могу одолжить деньгами ради частных услуг. Пока же милости прошу часто бывать для доброго знакомства, дом мой вам открыт.

– Благодарю, сударь, за великую вашу бонтэ, – сказал Штааль, вспыхнув от удовольствия. – Почту за особливую честь... А как, осмелюсь спросить, порешили насчет пьесы, которую будем играть на вашем театре?

Баратаев с недоумением уставился на молодого человека.

– Ах да, – сказал он равнодушно. – Играйте, что хотите. Какую-нибудь смешливую фарсу – ну, «Горе-богатыря Косометовича» или «Фигарову женитьбу». Гандошкина можно выписать, он славно песни играет. Или иудейский оркестр, что остался от князя Потемкина... Да стоит ли, сударь, о пустяках думать?

– Может быть, разрешите сыграть «Гонимых»? – спросил вкрадчиво Штааль и пояснил в ответ на вопросительный взор Баратаева: – «Гонимые», слезная драма господина Хераскова, поэта нашего первейшего. Прекраснейшее сочинение.

– И прекрасно, Херасково сочинение и сыграйте, – подтвердил Баратаев, поднимаясь, к великой радости Штааля. – А вы ко мне неупустительно приезжайте завтра ввечеру, а то и поутру. Не без умысла вас приглашаю... Прощайте, сударь, мне недосужно. Третий час уже в половине.

Штааль проводил гостя на улицу, где лакеи снова подхватили барина. Один из них сказал с испуганным видом, что проезжавший только что извозчик говорил, будто во дворце случилась беда с матушкой-государыней, а какая беда, не знает.

– Rien de grave? Du moins, je l'espere?³ – сказал Штааль по-французски, так как говорил в присутствии прислуги.

– Monsieur, rien de grave ne se passe dans le palais,⁴ – отрывисто ответил, садясь в карету, Баратаев.

³ Ничего серьезного? По крайней мере, я надеюсь? (*франц.*)

⁴ Ничего серьезного, сударь, во дворце не происходит (*франц.*).

3

Во дворце в этот ноябрьский день действительно случилась беда.

Малый Ермитаж накануне вечером затянулся немного долее обычного. По общему отзыву гостей, давно уже не было так весело в тесном кругу государыни. Из-за границы как раз пришла эстафета с известиями. Одно известие было чрезвычайно приятное. Имперские войска одержали викторию над революционными генералами и принудили их произвести спешную ретираду за Рейн. Австрийцы уже давно не имели серьезных успехов. Неудачи союзников в Петербурге вначале встречались не без приятного чувства; они все увеличивали то значение, которое Европа придавала участию русских войск в войне против общего врага. Но в последнее время у союзников накопилось уж слишком много неудач, особенно в Италии, где генерал Буонапарте шел от победы к победе. Поэтому известие о виктории эрцгерцога Карла было встречено с искренней радостью. Императрица тотчас села за стол и написала экспромтом радостно-шутливую записку имперскому послу графу Кобенцлю: «Je m'empresse d'annoncer a l'excellente Excellence que les excellentes troupes de l'excellente Cour ont completement battu les Francais!».⁵ Екатерина любила графа Кобенцля и допускала его в свой самый тесный круг. Он был очень некрасив, и безобразие его особенно оттеняло красоту князя⁶ Платона Александровича: государыня любила сажать их рядом. Записка была прочтена вслух приближенным, и остроумие матушки вызвало общий восторг. На малом приеме только речи было, что об этой записке, о блестящей виктории австрийцев, о паническом бегстве французов за Рейн. Тон установился такой радостный, что веселье как-то распространилось и на второе известие, сообщенное эстафетой, хотя оно само по себе было печальное. Скончался сардинский король Виктор-Амадей III, и по этому случаю ожидался некоторый, хоть и непродолжительный, придворный траур. Траур и смерти в Ермитаже очень не любили. Но сардинский король был стар и решительно никого не интересовал. Государыня приняла известие об его кончине совершенно равнодушно и даже шутила с Львом Александровичем Нарышкиным, пугая его тем, что уж теперь, после сардинского короля, и он, верно, скоро умрет. Нарышкин, который для потехи явился на малый прием переодетый уличным разносчиком, хоть маскарада не было, старался делать комически испуганное лицо. Но шутка матушки была ему не очень приятна: он в самом деле чрезвычайно боялся смерти. Лев Александрович старался перевести разговор; вынимал из карманов леденцы, грецкие орехи, яблоки, выкрикивал товар хриплым голосом и продавал его гостям, как старый коробейник, забавляя все общество. Императрица смеялась так, что в самом конце Малого Ермитажа выразила опасение, не сделался бы у нее от смеха вновь припадок колик, как три дня тому назад. В одиннадцатом часу она удалилась, вместе с князем Зубовым, во внутренние покои и так хорошо провела ночь, что Марья Саввишна Перекусихина, войдя в семь часов утра в опочивальню, долго не могла ее добудиться.

⁵ «Спешу сообщить превосходному Превосходительству, что превосходные войска превосходного Двора разбили французов наголову!» (*франц.*)

⁶ «В биографиях Зубова, – справедливо замечает автор большой работы о нем, напечатанной в 1876 году в «Русской Старине», – постоянно находим противоречия во времени пожалования ему княжеского титула!» (Русск. Стар., т. XVII, с. 446). По соображениям, которые здесь излагать не стоит, пишущий эти строки (оторванный от Архивных материалов России) вопреки указаниям Д. Бантыш-Каменского (Словарь достопамятных людей русской земли. Москва, 1836, т. II, с. 412), кн. П. Долгорукова (Российская родословная книга. СПб., 1856, т. III, с. 136) и А. Васильчикова (Liste alphabetique de portraits russes. St. Petersbourg, 1875, т. II с. 497), склонился к мнению, что П. А. Зубов уже был князем в 1793 году (автор указанной статьи в «Русской Старине» предполагает, что в 1793 году еще только велись переговоры с венским двором о возведении графа Зубова в княжеское достоинство Римской империи). Однако недавно, пересматривая «Voss'sche Zeitung» за 1796 год, я нашел в № 52 (30 апреля 1796 г.), в корреспонденции из Петербурга от 8 апреля, сообщение о том, что императрица разрешила 4 апреля графу П. Зубову (Platon von Souboff) принять пожалованный ему Римским императором титул имперского князя. Таким образом, первоначальное предположение мое (благодаря которому в романе «Девятое Термидора» Зубов назван не графом, а князем) оказывается ошибочным. Пользуюсь случаем сделать здесь соответствующую поправку. – Автор.

Императрица проснулась в прекрасном расположении духа. Весело пошутив с Перекусиной, она встала с постели и скинула с себя рубашку. При этом, как всякое утро в последние годы, Марья Саввишна подивилась необычайной полноте государыни: в ней теперь, несмотря на ее малый рост, было, на взгляд Перекусиной, более пяти пудов веса. Марья Саввишна, не снимая с матушки изящного решетчатого медальона, вставила в него другой золотой стерженек, вымазанный свежим медом, – Екатерина, как и другие дамы XVIII века, носила на шее ловушку для блох, – помогла матушке надеть пеньюар, нежно поцеловала ее в плечико и пошла за князем.

Государыня умылась, напилась крепкого кофе, потом весело поболтала с Платоном Александровичем, который был тоже очень хорошо настроен, отпустила его, позвала в спальню секретаря и принялась за работу. Вскоре после начала работы она вдруг поднялась, попросила секретаря подождать немного в соседней комнате и удалилась в уборную, помещавшуюся рядом со спальней.

Секретарь со сконфуженным видом вышел и принялся в соседней большой комнате рассматривать картины по стенам. Он ждал с четверть часа, удивился и довольно громко кашлянул несколько раз. Заглянул осторожно в спальню – там никого не было. Подождал еще, затем обеспокоился и поделился своим беспокойством с дежурным лакеем Тульником. Тульник тотчас доложил старшему камердинеру, любимцу Екатерины, Захару Зотову. Зотов сказал, что, должно быть, матушка давно вышла из уборной и, забыв о секретаре, через другую дверь спальни прошла погулять в Эрмитаж. Гуляла обыкновенно государыня в шубе и в мягких ботинках. Зотов заглянул в шкаф и увидел, что шуба и мягкие ботинки на месте. Это очень встревожило камердинера. Как ему ни было неловко, он подошел к уборной, сначала кашлянул, затем слегка постучал в дверь, потом громче.

Никто не отвечал.

– Ваше величество... Матушка!.. – окликнул он дрогнувшим голосом.

Ответа не было.

Зотов попробовал ручку двери. Дверь, открывавшаяся внутрь уборной, была заперта. Захар Константинович вдруг чрезвычайно побледнел. Схватив с кофейного прибора нож, он смахнул с него пальцем масло, просунул лезвие в щель двери и поднял с петли крючок, которым дверь запиралась. Крючок повернулся и упал по другую сторону. Зотов нажал дверь и с ужасом почувствовал, что она открывается туго, особенно снизу, точно к ней внизу прижато какое-то тяжелое тело. Из уборной послышался странный, негромкий, хрипящий звук. Вскрикнув от ужаса, Зотов надавил на дверь руками и коленом и протиснулся в уборную. Не то стон, не то крик, не то вой камердинера оповестил секретаря и Тульника о случившемся несчастье.

В маленькой уборной на полу, прислонившись спиной к двери и безжизненно опустив на грудь голову, подогнув под себя левую ногу, выставив вперед правую, с которой свалилась туфля, сидела императрица Екатерина II. Лицо ее было багрово-красного цвета, глаза тяжело опущены. Из открытого рта вырывалось хрипение.

От толчка в дверь туловище государыни слегка обвалилось, голова повисла на левом плече. Захар Зотов, выкрикивая бессмысленные слова, схватил Екатерину под мышки, выпустил, дернул поднявшийся пеньюар, спустив его на обнаженную волосатую ногу, высунул в дверь белое от ужаса лицо и пролепетал еле слышно:

– За князем! Скорей за князем!

Секретарь опрометью бросился на половину Платона Александровича. Зотов снова схватил государыню под мышки и, напрягая все силы, поднял и оттащил немного от двери ее тяжелое тело. Екатерина, не открывая глаз, продолжала хрипеть. Дверь удалось открыть. Тульник сорвал с постели сафьяновый тюфяк и бросил его на пол, затем обхватил ноги императрицы ниже колен и поднял ее с помощью задыхавшегося Зотова. Тело было необычайно тяжело. Они

втащили государыню в спальню и опустили ее на тюфяк. При этом правая рука ее свалилась и мягко ударилась о ковер – Зотов и Тульник ахнули.

Императрица лежала, хрипя, тяжело запрокинув голову, под которую не догадались положить подушку. Ее тело в белом, осевшем на животе и на босых ногах пеньюаре казалось частью огромного шара.

За дверью спальни послышался шум бегущих шагов. В комнату ворвался князь Платон Зубов, замер на пороге – и с криком ужаса упал на колени возле хрипящего тела государыни.

4

Несчастный случай с императрицей было вначале велено скрывать, так что сам граф Безбородко узнал о нем лишь в обеденное время. Известие это, сообщенное на ухо Александру Андреевичу доверенным секретарем Иванчуком, совершенно его ошеломило. В мозгу графа оно мгновенно отразилось образом невысокого беспокойного человека в странном мундире, со вздернутым носиком и со злыми бегающими глазками. Александр Андреевич, с утра вдобавок чувствовавший себя нехорошо, апоплексически побагровел; он схватился обеими затрясшимися руками за галстук и на мгновение лишился дыхания. Ему вдруг захотелось лечь. Ноги задрожали мелкой дрожью. Не говоря ни слова, ни о чем не спрашивая Иванчука, который, впрочем, никаких подробностей и не знал, Безбородко неверной походкой пошел по направлению к дивану, по дороге остановился и тупыми глазами уставился на секретаря. Постояв так с минуту, он вздрогнул, вытер все лицо платком, тяжело поспешными шагами спустился вниз по лестнице, машинально расправляя рукой смявшийся шелк галстука. Как ни был поражен граф, он не забывал, что тяжелая болезнь императрицы может составлять государственную тайну. Он никому не говорил о случившемся и не объяснял, куда и зачем уезжает. Лакеи смотрели на него изумленно: не было случая, чтобы Безбородко выехал из дому в обеденное время. Экипаж графа не был заказан, но у подъезда стояли парные сани управляющего. Александр Андреевич вышел из парадной двери, оступился на мостках, вступил ногой в мокрый снег, замочив чулок по щиколотку, и, опираясь на плечо Иванчука, полез в чужие сани. Перепуганный кучер хотел было объяснить, что тут ошибка, что это не карета его сиятельства, но Иванчук сделал страшное лицо – и кучер сразу стих. Секретарь ловко подсадил Александра Андреевича и спросил его шепотом:

– Прикажете ехать с вами?

Безбородко отрицательно мотнул головой и с выражением ужаса на лице приложил к правому углу рта конец указательного пальца, тотчас же омочившийся при этом слюною. Иванчук почтительно закрыл глаза и медленно наклонил голову. Радость от того, что он первый, раньше всех, узнал и сообщил графу столь важную новость, совершенно переполняла его душу, и хоть Безбородко не взял его с собой, Иванчук не чувствовал досады: рассчитывал скоро проникнуть во дворец и без графа.

– Барин, куда их везти? – спросил растерянно кучер.

– Пошел в Зимний дворец! – тихо, но внушительно сказал секретарь, с особым удовольствием произнося последние слова.

Кучер задержал вожжами и негромко – из уважения к седоку – щелкнул кнутом. Улицы Петербурга по дороге от дома Безбородко ко дворцу были в ту пору уже вымощены, и на камнях мостовой, еле покрытых грязным ноябрьским снегом, сани сильно трясли и стучали. Александр Андреевич, обычно выезжавший в покойной карете шестериком в цуге, с гусарами, с форейторами, с гайдуками, сидел боком, ухватившись за левую ручку саней и не запахнув шубы. Непривычный плохой экипаж как бы отметил в его сознании, что произошло что-то новое, страшное и непоправимое. Сани были небогатые, но с претензиями: с ярко-красной бархатной полостью и с загнутыми полозьями, которые наверху, аршина на два от земли, сводились в золоченую фигурку – голову сатира со сквозными ушами для пропуска концов вожжей. Александр Андреевич, медленно вздрагивая всем телом, бессмысленно уставился сбоку на голову сатира – и вдруг с фигурки на него взглянул беспокойный курносый человек со странной отвесной верхней губой и с нехорошим взглядом исподлобья. Безбородко почувствовал себя больным. Последним усилием воли он запретил себе думать, до приезда во дворец, о том, что произошло. Может быть, еще ничего и не произошло... Мало ли что говорят люди...

Но как только он вылез, задыхаясь, из тряского экипажа, как только вошел в хорошо знакомый правый малый подъезд дворца, он почувствовал, что люди говорили правду и что случилось несчастье. Непривычный человек, вероятно, не заметил бы в вестибюле ничего особенного. Но Александру Андреевичу сразу бросилась в глаза не совсем обыкновенная картина. Прислуги внизу было меньше, чем всегда; зато были какие-то чужие люди, явно не имевшие привычки ко дворцу, – это было заметно по их неуверенному поведению у лестниц. Небольшие группы шептались.

Александра Андреевича прислуга заметила не сразу. Один старый лакей бросился, наконец, к нему и, снимая шубу, шепнул графу на ухо, что кончины ожидают с минуты на минуту. Александр Андреевич ахнул – уж, стало быть, всем известно.

– Что ты говоришь!.. – прошептал он чуть слышно.

Лакей закивал головой с сокрушенным видом. Однако в бегающих глазах у него играли радостные огоньки. Дворцовая прислуга любила Екатерину. Но близящаяся большая перемена радовала русских людей.

– Господи, помилуй! – сказал тихо Александр Андреевич.

Он с трудом повел утомившейся вдруг спиной и плечами, отдал шубу и по привычке хотел было, как всегда при этом жесте, предписать лакею заботливое отношение к шубе, но спохватился – неприлично, «да и к чему теперь соболья шуба? разве что в Сибири пригодится», – он криво улыбнулся бледными холодными губами. Машинальным жестом потянулся рукой к чулку, чтобы его подтянуть, но опять спохватился, – пожалуй, и о чулках заботиться теперь не совсем удобно. Он оглянулся по сторонам: слава Богу, никто не заметил. Александр Андреевич вдруг опомнился, сделал над собой усилие и медленно пошел вверх по лестнице, стараясь держаться ближе к перилам: ему почему-то казалось, будто и с ним, как с матушкой, вдруг может случиться что-то очень неожиданное и нехорошее. На первой площадке он остановился передохнуть и увидел в огромном уже темнеющем зеркале наклонное отражение расстроенной фигуры. По второй лестнице спускался поспешным шагом обер-церемониймейстер Валуев – добрый знакомый и благожелатель. Александр Андреевич окликнул его упавшим голосом. Валуев радостно к нему подошел и остановился с ним в углу площадки минут на пять, хотя по его спешному шагу можно было заключить, что он торопился по важному делу. Тут только Безбородко, ахая и вскрикивая, узнал во всех подробностях, что именно произошло. Валуев морщился, описывая несчастный случай с государыней. Он подтвердил, что лейб-медик Роджерсон признал состояние матушки безнадежным: уже послано за его высочеством в Гатчину. Послано и за митрополитом Гавриилом. Александр Андреевич – неожиданно даже для самого себя – вдруг тяжело беззвучно зарыдал. Обер-церемониймейстер посмотрел на него изумленно, и Безбородко вспомнил, что Валуев в отличие от него не имеет особых оснований опасаться воцарения курносого человека со злыми глазками. Расстроенный вид Валуева объяснялся главным образом тем, что несчастье с государыней случилось в столь неподобающем и непредусмотренном месте; и все мысли обер-церемониймейстера сосредоточивались теперь на вопросах церемониала, связанных с предстоящими похоронами государыни и со вступлением на престол Павла Петровича.

Из сочувствия горю Александра Андреевича Валуев крепко пожал ему руку, торопливо взглянул на часы, ахнул и побежал дальше. Безбородко вытер слезы, уронил платок, поднял, встряхнул и подул на него, затем, держась за перила, пошел вверх по лестнице. Валуев сказал ему, что все собрались около спальни ее величества, в бриллиантовой и зеркальной комнатах. Когда Безбородко поднялся в средний этаж, у него началось сильное сердцебиение. Он добрался до стула у стены узкой проходной залы и сел, схватившись рукой за грудь. Сердце понемногу отошло. Зато голова работала все хуже. А между тем он чувствовал, что надо сделать что-то важное: что именно – он не мог сообразить. Александр Андреевич напрягал память: сколько раз в последние годы он представлял себе возможность кончины государыни.

Почему-то ему всегда казалось, что это произойдет не сразу; можно будет позаботиться о своих делах во время болезни матушки. Теперь несчастье обрушилось так внезапно... Он не мог собрать мыслей, не мог вспомнить того, что предполагал сделать в этом положении. Александр Андреевич, не меняя позы, смотрел снизу вверх на людей, проходивших перед ним с озабоченными и нахмуренными лицами. Никто его не замечал: было уже довольно темно. Ему казалось, что его не замечают умышленно, и это наводило на него особенный ужас. По зале проходило много народу; были тут и привычные, и совершенно неизвестные лица. Почти никто не здоровался со знакомыми. Шедшие туда, встречаясь с шедшими оттуда (вторых было гораздо меньше), задавали вполголоса, или просто выражением лица, один и тот же вопрос и получали один и тот же ответ, после чего, кивая медленно головой, говорили: «Господи!», или: «Ах ты, Боже мой!», или: «Какое несчастье!..» Разговаривали вообще немного и однообразно. Но почти неизменно, вслед за «Господи!» и «Какое несчастье!», знакомые спрашивали друг друга, уже погромче, о князе Зубове, точно и он заболел вместе с императрицей. Ответы были также однообразные: одни говорили «смотреть жалко», другие говорили «смотреть гадко». При этом лица менялись, и на них выступало с трудом сдерживаемое, а то и вовсе не сдерживаемое выражение радости: Платона Зубова ненавидели все, даже благодетельствованные им люди.

Безбородко только тут, услышав разговоры, вспомнил о Зубове: высокомерный фаворит Екатерины, всячески третировавший наследника престола, мог, конечно, считаться погибшим человеком. Александр Андреевич теперь забыл о своей злобе против князя. Но его все же немного утешила мысль о том, что есть сановник, положение которого еще гораздо хуже, чем его собственное. Надеясь найти и других товарищей по несчастью, Безбородко с тоской всматривался в лица людей, которые проходили как тени во все темнеющей узкой зале. Но на всех почти лицах он читал то же выражение, которое мелькало в глазах старого лакея. Почти всех радостно волновало ожидание близкой важной перемены. Едва ли кто радовался самой кончине Екатерины. Но едва ли кто и очень огорчался, кроме нескольких ее любимцев. Из посторонних людей лишь очень немногие выражали скорбь иначе, как коротким восклицанием при первом известии. Зато эти немногие выражали свое горе в столь неестественной форме, что за них становилось неловко. Быстро взбежавший по лестнице нарядно одетый представительный господин, – Александр Андреевич знал его в лицо, это был известный актер придворного театра, – услышав о безнадежном состоянии Екатерины, вдруг вскрикнул страшным голосом, вцепился в волосы руками в перстнях и, подбежав к высланной мягким штофом стене, стал биться о нее головою.

– Фелица! Матушка! Великая Екатерина! – вскрикивал рыдающим голосом актер. – За что? Господи, за что?.. Что же теперь будет с несчастной Россией!.. Фелица! Гремислава!..

Одни кивали сочувственно головою, другие смотрели в недоумении. Вдруг неожиданно у стены, почти рядом с рыдающим актером, послышалась музыка. Это заиграли «Malbrough s'en va-t-en guerre»⁷ часы работы Рентгена. Екатерина, совершенно лишенная музыкального слуха, очень любила играющие часы, и во дворце их было немало. Актер еще вскрикнул, уже потише, и поспешно отошел от часов. Какой-то молодой человек в форме сержанта Измайловского полка весело засмеялся. Александр Андреевич посмотрел с тоскою – кто теперь может смеяться? Симпатичное лицо молодого человека было ему знакомо. Он механически напряг память и вспомнил: Митя Бологовской. Бессознательное удовлетворение от этого удавшегося, хоть совершенно ненужного ему, усилия памяти вдруг заполнило провал, образовавшийся в уме графа Безбородко. В памяти его выскочил перевязанный черной ленточкой пакет, в котором хранилось завещание государыни. Точно вспыхнул огонек – мысль Александра Андреевича пришла в движение. Он видел, что использовать этот пакет против Павла Петровича уже невозможно: нет времени. Но передать завещание Павлу, смягчить таким образом его неми-

⁷ «Мальбрук в поход собрался» (франц.).

лость – да, тут еще были козыри для игры. И первым делом нужно, разумеется, послать от себя гонца к наследнику – сообщить как и что. Это само по себе должно ему понравиться. «Как только я раньше не догадался?.. – подумал, быстро поднимаясь и вздрагивая, Безбородко. – Куда ж послать?.. В Павловское?.. Нет, в Гатчину... Нет, скачет уже, верно, сюда. Вот по дороге ему и передадут... Кого послать? Да вот этого хлопца...»

Он поспешно поплыл к Бологовскому и взял его рукой за плечо.

– Вот что, Митенька, голуба, – сказал он негромко, не отвечая на почтительное приветствие молодого человека. – Не в службу, а в дружбу прошу и услуги твоей не забуду... Да... Поезжай-ка ты сейчас по Гатчинской дороге... да... по Гатчинской дороге... навстречу его высочеству. А как встретишь его высочество, скажи ты ему... скажи, что послал тебя Александр Андреевич Безбородко и велел передать, что надежды на выздоровление ее величества нет никакой, – он тяжело вздохнул. – И еще велел передать, что он, Александр Андреевич, его высочеству всегда был, есть и будет верный слуга. – Безбородко произнес эти слова особенно внушительно, точно убедить в них надо было Митю Бологовского...

Проходивший мимо них с озабоченным видом Валуев услышал слова графа и вдруг остановился.

– Вы что, тоже к наследнику посылаете? – сказал он с недоумением. – Mais on dirait que c'est contagieux!⁸ Нынче все послали гонцов к наследнику. И великие князья послали, и Ростопчин, разумеется, поскакал, и Зубов – да-с, Зубов! – послал братца Николая, и еще двадцать человек послало, c'est comme j'ai l'honneur de vous dire!⁹ Придворные повара и те, ma parole,¹⁰ отрядили к Павлу Петровичу своего человека для оповещения, что надежды никакой нет. Полноте, Александр Андреевич, оставьте в покое этого юношу. И без вас ввечеру прискачет Павел Петрович...

Он взял графа за талию и отвел его от Бологовского. Безбородко, сокрушенный новым ударом, бессильно за ним следовал.

– Вот что, ваше сиятельство, – сказал шутливым тоном Валуев, невольно прислушиваясь к игре часов и слегка отбивая такт ногою. – Не волнуйтесь вы понапрасну. На вас лица нет. Еще, не приведи Бог, свалитесь.

– И лучше бы!.. Один конец!.. – простонал Александр Андреевич.

– Да полноте! Грех какой! – вскрикнул Валуев. – Зубов – другое дело, а вам чего так бояться, право? – добавил он поспешно вполголоса. – Кто перед Павлом Петровичем не грешен, кто бабе не внук? Все, правду говоря, виноваты.

– Я-то, Петр Степанович, я-то чем виноват? – лепетал Александр Андреевич. – Вот уж, Бог видит, ни мыслью, ни душою... Готов служить верой и правдой... как матушке служил!..

– Ну да, ну да! – рассеянно сказал Валуев, с сожалением взглянув на умолкшие часы. – И с Ростопчиным в особенности вы хороши, ведь он теперь всем на шею сядет... Незачем вам себя озабочивать, верьте мне! Пойдем лучше со мной туда... Экая темь! Отчего свечей не зажигают? Беспорядок какой!.. Всякий народ сегодня пускают во Дворец! Cette foule!¹¹ О кончине... о восшествии на престол объявил в бриллиантовой граф Самойлов, – неожиданно добавил Валуев.

⁸ Можно подумать, что это заразительно (*франц.*).

⁹ Это так, как я имею честь сообщить вам (*франц.*).

¹⁰ Честное слово (*франц.*).

¹¹ Эта толпа! (*франц.*)

5

В большой комнате, которая примыкала к спальне Екатерины, все говорили шепотом или вполголоса; однако глухой, сливающийся шум голосов был слышен еще в коридоре. Несколько человек приблизились вплотную к Валуеву и Безбородко и, разглядев их лица, равнодушно отвернулись: очевидно, ждали не их. Когда глаза Александра Андреевича привыкли к полутьме, он узнал среди присутствовавших в этой комнате первых сановников империи, с которыми протекала его жизнь. Но рядом с ними находились и совершенно другого сорта люди. Около вице-канцлера графа Остермана стоял мелкий чиновник дворцовой службы, который прежде не посмел бы сюда и показаться. Было в комнате несколько генерал-аншефов, и был тут же молоденький, бойко державшийся, никому не известный поручик. Очевидно, порядок исчез совершенно за отсутствием хозяина; хозяином был прежде князь Платон Зубов. Его Безбородко искал глазами, но не нашел. В большой комнате кроме ее обычной красной мебели стояло еще несколько стульев другого цвета, расставленных как попало, очевидно снесенных сюда предприимчивыми людьми из разных покоев дворца. Кресел, стульев и диванов все же не хватало, и часть собравшихся стояла; освободившиеся места захватывались немедленно: люди, по-видимому, устраивались надолго. Больше всего мебели и людей было у окон, где шла оживленная беседа и где собрались наиболее видные сановники. Но довольно плотная кучка стояла и у противоположного окнам угла комнаты, отрезывая от глаз Александра Андреевича то, что было в углу. Невысокая дверь в спальню императрицы, находившаяся посередине короткой стены, была плотно прикрыта, и из-под нее на ковер ползла небольшая полоска бледного света. Безбородко, выпустив руку Валуева, устался на эту дверь, поискал кого-то глазами, затем отошел к одному из окон и тяжело сел на подоконник, едва доставая до полу концами туфель. Так Александр Андреевич просидел с четверть часа, растерянно слушая разговоры лиц, сидевших перед ним в креслах, и плохо их понимая. Преждевременная старость и немощи сильно на нем сказались в этот день. Он желал теперь только одного: чтобы новый император просто, без позора и кар, уволил его в отставку и дал ему дожить век, – он чувствовал, уже недолгий, – в Москве или в деревне на покое. Честолюбивые мысли, мучившие его всю жизнь, вдруг исчезли совершенно. Кроме радостей еды, сна и того, что еще могли дать ему женщины, он больше ничего не желал на свете. Ему захотелось снять промоченный чулок, накрыться с головой одеялом и уснуть. Он болезненно зевнул, тщательно скрывая зевок, отчего слезы выступили у него на глазах, и прислонил голову набок, к боковой стенке окна, с трудом удерживая спину, чтобы, согнувшись, не разбить стекла. Эта школьническая поза на подоконнике, столь не подобающая его годам и сану, снова напомнила ему ужас его положения.

Из сановников кое-кто дремал, другие устало разговаривали. Все ждали. Большинство не обнаруживало признаков особого горя – оттого ли, что и не чувствовало его, оттого ли, что скорбь умерялась оживляющим действием близкой большой перемены, или же просто по привычке светских, придворных людей скрывать проявления каких бы то ни было сильных чувств. Но были и исключения. Глубокая, искренняя скорбь запечатлелась на лице тяжело сидевшего в кресле Александра Сергеевича Строганова. Этот старик, лишенный честолюбия, один из богатейших людей в России, которому государыня ничего не могла дать, искренне и бескорыстно любил Екатерину. Он любил ее общество, любил ее остроумие, преклонялся перед ее ученостью и умением обращаться с людьми и по-христиански прощал ей всю жизнь ее слабости, ему, по его темпераменту, особенно чуждые. Он думал теперь о величии царствования Екатерины, об ее победах, об ее заслугах перед Россией; думал о том, что никогда больше не будет играть с матушкой ни в вист, ни в макао, ни в мушку, никогда больше не услышит ее голоса с так смешившим его немецким акцентом... Слезы застилали ему глаза.

В комнату вошла косая полоса бледного света. Дверь из спальни императрицы открылась, и на пороге появился лейб-медик Роджерсон. Мгновенно наступила мертвая тишина. Только несколько человек успело подняться с кресел, и Александр Андреевич Безбородко, сорвавшись с подоконника, мелкими шажками пробежал вперед. Роджерсон недовольным взором обвел комнату и сказал медленно, вполголоса, на затрудненном французском языке:

– Господа, прошу разговаривать тише...

Легкая, еле слышная волна точно разочарованного гула пронеслась по комнате. Люди, поднявшиеся с кресел, опять уселись плотнее. Но Александр Андреевич прирос к полу против открытой двери, с ужасом глядя мимо Роджерсона на белое пятно посредине выстланной красным ковром спальни. Его особенно поразило то, что императрица лежала на полу (врачи не решились перенести ее на кровать). Спальня была полутемна по стенам. Но посредине против двери горело несколько свечей в розовых колпачках. Перед тюфяком на коленях стоял, с отведенной свечой в левой руке, один из врачей и платочками, которые, удерживая рыдания, подавала ему Марья Саввишна Перекусихина, вытирал черную пену, струившуюся с губ государыни. Лицо Екатерины было страшно. Оно беспрерывно меняло цвет: из желто-бледного вдруг, наливаясь кровью, становилось багрово-красным, затем снова быстро желтело. В двух шагах от тюфяка в неестественной позе, устремив неподвижный, застывший взор на государыню, заломив перед грудью руки, стояла на коленях толстая безобразная ергouveuse¹² – Анна Степановна Протасова...

Марья Саввишна вдруг тяжело поднялась с колен, передала врачу платочек, подошла к двери со свечой и, сердито потащив за рукав Роджерсона, резким, хоть бесшумным, движением закрыла дверь. Снова поднялась волна гула, почти столь же громкая, как прежде. Александр Андреевич остался в своей неподвижной позе, с полуоткрытым ртом и широко раздвинутыми ногами, чуть согнутыми у колен. Позади него сановники из вновь пришедших вполголоса обменивались впечатлениями: один из них в боковой стене спальни успел разглядеть дверь уборной, в которой случилось несчастье. Бойкий старичок как будто сокрушенно, но не без удовольствия рассказывал соседям, в каком виде была найдена Зотовым императрица. Все морщились, слушая подробности его рассказа. Кто-то вдруг шепотом, с расширенными глазами, напомнил пророчество Андрея Враль: Андрей Враль, умирая, предсказывал, что Екатерина II погибнет позорной смертью. В уме Александра Андреевича тоскливо зашевелился вопрос: какой такой Андрей Враль? И тотчас он вспомнил, что под этой шуточной кличкой был когда-то заточен государыней в ревельский каземат (и умер там) знаменитый митрополит Арсений Мацеевич, борец за вольности православной церкви. Александру Андреевичу вдруг стало уж совсем нехорошо, хоть он был ни при чем в деле митрополита Арсения. Шатаясь, он отошел к своему окну. Но его место на подоконнике было занято бойким поручиком.

Из коридора появился дрожащий свет: лакей с длинной свечой пошел вдоль стен, зажигая канделябры. Комната постепенно освещалась: послышался радостный гул. Когда лакей дошел до противоположного окнам угла, стоявшая там кучка людей расступилась, чтобы дать ему дорогу, и Безбородко увидел, что на небольшом угольном диване сидел Платон Александрович Зубов. Но он с трудом узнал князя. Лицо Зубова было совершенно искажено. На диване рядом с ним могло поместиться еще два человека; однако, хотя в комнате были заняты решительно все стулья, оба места рядом с Зубовым оставались свободными. Вблизи от князя, бесцеремонно на него уставясь, как на медведя в зверинце, стояло несколько человек. Никто с ним не говорил. Вначале он сам пробовал разговаривать с окружающими; одни с испугом от него отшатывались, другие просто не отвечали или пожимали в ответ плечами. Когда лакей, испуганно на него взглянув, зажег над ним свечи канделябра, Зубов болезненно сморщился и

¹² Испытательница (франц.).

сказал сипло, обращаясь неуверенно, с мольбой в голосе, не то к лакею, не то ко всей стоявшей перед ним кучке:

– Дайте мне стакан воды...

Лакей не расслышал слов князя и поспешно прошел дальше. Послышался смех. Зубов с ужасом взглянул на людей и вдруг закрыл лицо руками. Смех усилился. «Beau joueur!»¹³ – произнес иронически кто-то вполголоса. Кто-то другой тоже вполголоса сказал фразу, в которой все слышали «кнут» и «Сибирь». Слова эти облетели комнату. Два сановника у окна заспорили об участии, ожидающей Платона Александровича. Один полувопросительно напомнил, что Павел Петрович в свое время грозил по вступлении на престол высечь фаворитов своей матери и сослать их в Сибирь. Безбородко испуганно посмотрел на говорившего и тотчас отвернулся. Но другой сановник стал возражать:

– Мало чего в запальчивости не скажешь! Шутка ли, высечь, и в Сибирь! Этот сударь как-никак андреевский кавалер, генерал-фельдцейхмейстер, русский столбовой дворянин и князь Римской империи...

– А Волынский? А Бирон? А Миних? – сказала сразу несколько голосов.

– Да-с, граф Миних был воин почище этого...

– Однако чувствительность Павла Петровича известна. Может, его величество и помилует...

– Его высочество, – поправил сердито Валуев, показывая глазами на дверь спальни.

Безбородко растерянно огляделся по сторонам. В комнате он увидел человек десять, о которых упорно говорили, будто они пользовались в разное время милостями государыни...

Дверь спальни настежь с шумом распахнулась; из нее с сияющим радостью лицом выскочила Марья Саввишна и с криком бросилась к дивану князя Зубова:

– Открыла глаза! Ожила! Пожалуйте! Теперь выздоровеет! – лепетала она бессвязно.

В комнате произошло смятение. Зубов поднял голову, уставился на Перекусихину, затем вдруг понял смысл ее слов. Сорвавшись с дивана, он бросился в спальную в сопровождении Марьи Саввишны. Толпа мгновенно перед ним расступилась. Кто-то второпях побежал к графину за стаканом воды для князя, но не успел. Дверь спальни уже закрылась.

– Вот бы дал Господь!.. – Радость какая!.. – Я говорил, что еще есть надежда!.. – Что ж такое, что удар!.. – Всего шестьдесят семь лет!.. – У моей тетушки было три удара, и жива!.. – слышалось с разных сторон. Безбородко не выдержал, маленькими шажками проплыл к спальне, приоткрыл дверь и отчаянным, умоляющим жестом вызвал лейб-медика. Снова настала тишина.

– Ну, что вам? – недовольно спросил Роджерсон. Александр Андреевич хотел объяснить – и не мог: язык не повиновался его усилию. Несколько человек задало вопросы лейб-медику. Выражение досады на лице Роджерсона усилилось и перешло в гримасу.

– Ведь я же ясно сказал, что никакой надежды нет, – сухо проговорил он, пожав плечами. – Зачем меня спрашивать, если вы больше верите этой доброй женщине? Часы ее величества сочтены... Открыла глаза!.. Что с того?.. Это агония...

Он круто повернулся и столкнулся с Зубовым, который выходил из комнаты с прежним выражением отчаяния на лице. Услышав рыдание Александра Андреевича, князь протянул руки, желая его обнять. Безбородко в испуге попятился назад. Роджерсон исчез в спальне.

В коридоре за дверью слышались шаги – не такие, какими ходили теперь все, а спокойные, неторопливые, очень тяжелые. В комнату вошел человек лет шестидесяти, головой выше высокого человеческого роста и наружности, какую никогда никто не мог бы забыть, раз ее увидав. Страшное лицо его от уха до рта было пересечено глубоким шрамом.

«Орлов... граф Алексей Григорьевич... Чесменский...» – пронесся по комнате шепот.

¹³ «Смелый игрок!» (франц.)

Имя убийцы Петра III теперь звучало еще гораздо более зловеще, чем имя князя Зубова. Но над Алексеем Орловым никто не смеялся и никто не злорадствовал. Все смотрели с ужасом на его могучую фигуру. На нем был мундир серебряной парчи, залитый драгоценными камнями величины невиданной даже при дворе Екатерины II. Андреевская лента и на груди портрет государыни в алмазной раме (после смерти своего брата и Потемкина он один в России имел право носить на груди портрет императрицы). Орлов равнодушно оглядел людей, находившихся в комнате, и, слегка усмехнувшись (усмешка у него при его шраме была особенно страшная), медленно прошел к двери спальни. В комнате стояла совершенная тишина. Алексей Орлов неторопливым движением открыл двери и, слегка вздрогнув, остановился. Наклонив голову, держась обеими огромными руками за косяк двери, недостаточно высокой для его роста, он стоял так неподвижно несколько минут, не отводя глаз от хрипящего тела императрицы Екатерины. Роджерсон поднялся со стула и отчаянно замахал руками. Протасова мгновенно закрепила в своей позе глубокого отчаяния. Марья Саввишна, смертельно, как и государыня, как и все, боявшаяся Алексея Орлова, в ужасе подняла на него глаза.

- С утра еще был здесь, – прошептал кто-то около Александра Андреевича.
- Больной пришел...
- Видно, Ерофеич вылечил...

Алексей Орлов от всех болезней лечился зверобойной настойкой, которую рекомендовал ему знахарь Ерофеич. Лицо его было в самом деле очень бледно.

* * *

...Он стоял неподвижно – и жизнь Екатерины, так странно, так страшно сплетенная с его собственной жизнью, бессвязно перед ним проходила... Она была его любовницей, она имела от него сына, он возвел ее на престол, он задушил ее мужа. Перед ним встал образ любимого брата, который был главным ее любовником, который должен был стать ее мужем. И вдруг промелькнуло в его памяти видение, быть может, самое страшное, вместе с призраком убийства в Ропшинском замке, из всех страшных видений, которые по ночам могли тревожить память Орлова-Чесменского, – образ брата Григория в последние дни жизни: этот человек несравненной красоты, этот любимец судьбы, этот идол женщин в припадке неизлечимого безумия пожирал свои извержения...

Казалось, все присутствовавшие в комнате угадывали чувства Алексея Орлова. В общей тишине слышен был только ужасный хрип, неумолчно несшийся с тюфяка на полу спальни. Что-то вдруг изменило на мгновение не мысли, а души людей. Радостное оживление исчезло, человеческие чувства пробудились. Люди почувствовали не близящуюся перемену престола, не появление новых любимцев, не новые награды и опалы, не конец шумного царствования, а смерть – смерть женщины, с которой каждого из них связывала большая часть жизни. Бледное лицо Орлова дрогнуло. Он медленно закрыл дверь и пошел назад. По дороге ему попался на глаза Платон Зубов, которого на диване поили водой со сбивчивыми словами утешения. Граф Чесменский опять усмехнулся и неторопливо вышел из комнаты.

Своей тяжелой походкой он спустился по лестнице. Внизу происходила суматоха. Парадные двери были открыты настежь. С улицы виднелись огни факелов и слышался звон колокольчиков. От подъезда отъезжала вереница экипажей. По вестибюлю шла толпа людей. Впереди бежал невысокий, худощавый человек в больших пудренных буклях, с огромной шпагой, болтавшейся позади, на спине, между фалд длинного кафтана старого прусского образца. Алексей Орлов почтительно склонился перед наследником престола. Павел Петрович на мгновение прирос к земле, странно заслонив лицо красным обшлагом своего грендерского мундира,

затем что-то пробормотал и побежал вверх по лестнице. За ним шел, покачиваясь, сопровождавший его из Гатчины граф Николай Зубов.¹⁴

¹⁴ Будущий убийца императора Павла. – *Автор*.

6

В день смерти государыни Штааля постигла большая неприятность: он схватил сильнейший насморк и принужден был сидеть несколько дней дома. Весь Петербург в эти дни толпился во дворце, и показаться знакомым дамам с красным распухшим носом и слезящимися глазами Штааль, разумеется, считал невозможным. Каждое утро он старательно выписывал на листе бумаги: «Заболев сего числа, службы Его Императорского Величества нести не могу» (в первое утро он ошибся и по привычке – ему довольно часто случалось сказываться больным – вместо «Его Величества» написал «Ее Величества»). Небритый и злой, сидел он в своей жарко натопленной квартире, непрерывно кашляя и мучительно чихая. То лениво рисовал в тетрадке разные скицы, то со злостью читал случайно ему попавшийся седьмой том «Французской революции» врача Христофа Гиртаннера (удивляясь при этом, как все в ней было несовместно с тем, что он видел в Париже). Квартира его, на Хамовой улице, была из двух комнат, небогатая и неудобная, с мебелью рыжевато-голубого цвета, – этот рыжеватый цвет почему-то создавал впечатление бедности и провинции, несмотря на усиленную погоню Штааля за модой и за теми дорогими вещами, которые он мог себе позволить. Одну из стен кабинета (наиболее ободранную) прикрывал настоящий гобелен, за бесценое купленный у французского эмигранта. На другой стене висели две скрещенные рапиры, а под ними кинжал дамасской работы и огромный пистолет. Была в кабинете еще полка с небольшой коллекцией табакерок из яшмы и слоновой кости и с двумя лорнетами (их больше почти не носили с тех пор, как носить их было приказано будочникам). На письменном столе лежали – большая редкость – недавно изобретенные в Бирмингеме гаррисоновские стальные перья (Штааль, впрочем, писал гусиными, но тщательно их прятал в ящик, а знакомых уверял, что стальные хоть гораздо дороже, но зато удобнее). В спальне гостям совсем нечего было показывать – разве только бутылку с душистой водой, которую изготовлял в Кёльне сардинец Фарина и которая даже во Франции была в ту пору известна лишь щеголям.

Скучал Штааль невообразимо. От скуки и одиночества быстро прошло то небольшое удовольствие, которое доставляет людям, особенно молодым, легкое, не причиняющее болей нездоровье и связанное с ним законное состояние безделья. Все товарищи его, по-видимому, забыли совершенно: никто не считал нужным зайти навестить больного. Озлобление против людей росло в молодом человеке с каждым часом. «Так и пропадешь с ними, как собака», – говорил он себе вслух. Он догадывался, что в столице происходят события большой важности, и полное отсутствие новостей угнетало его чрезвычайно.

Неожиданно в пятницу, часов в семь вечера, к нему вдруг заглянул Иванчук. Штааль, хоть не слишком его любил, обрадовался ему так, что потом было совестно вспоминать. Озлобление против людей и отвращение от жизни прошли у больного мгновенно. Он вдобавок видел (и мудрено было не видеть), что секретарь графа Безбородко начинен новостями больше всякой меры. Ужас охватил Штааля, как бы Иванчук тотчас не ушел. Он стал умолять гостя остаться на весь вечер и, торопливо соображая содержание кошелька, обещал послать за ужином к Демуту или к Юге и поставить море шампанского. Иванчук согласился не сразу и неохотно, с таким видом, будто у него был на этот вечер десяток других, гораздо лучших приглашений. Но все же согласился остаться, потребовав, чтобы ужин был именно от Демута, а ни в каком случае не от Юге, который кормит дохлятиной. Штааль не обиделся на тон гостя: видел, что он ломается и сам горит охотой рассказать новости. Иванчук сбросил шубу будто небрежно, однако же так, что она ни одним краем не коснулась пыльного пола. При этом Штааль не мог не заметить, как нарядно был одет его гость. Под шубой-винчурой туруханского волка у него оказался зеленый, шитый золотом и шелками камзол, гроденаплевые панталоны, застегнутые ниже колен серебряными пряжками, и полосатые – не вдоль, а поперек, колеч-

ками, – шелковые чулки. В руках он держал белую муфту – «маньку». Все это было очень модно и тщательно обдуманно. Штааль утешился тем, что у Иванчука была все же не соболья муфта, а «манька» из украинской овцы, и камня на пряжках у него едва ли настоящие – разве один или два, что поменьше? – и часов как будто была при нем лишь одна пара вместо полагавшихся модникам двух – вторая цепочка служила для отвода глаз. Иванчук был настроен возбужденно и весело. В первые часы после несчастья с государыней он несколько встревожился в связи с участью, ожидавшей графа Александра Андреевича, и даже немного щеголял перед другими своей тревогой, говорившей, что он, как тот или другой вельможа, мог впасть в немилость при новом императоре. Разумеется, ему по-настоящему ничего не приходилось опасаться: в случае опалы Безбородко у Иванчука нашлись бы другие покровители. Но это означало бы важную перемену в его жизни. Кроме того, Иванчук, как все приближенные Александра Андреевича, искренне любил графа. Тревога его продолжалась недолго: после тридцатичасового отсутствия Безбородко вернулся из дворца домой. Хотя вид у графа был разбитый и потрясенный, но по особому сиянию его измученного лица, по торжествующим огонькам в заплывших глазах, распухших от слез и бессонницы, по той жалости, с какой он упомянул о Зубове, Иванчук сразу почувствовал, что все обстоит благополучно. А часа через два, немного отдохнув, Безбородко сам вызвал к себе секретаря и поговорил с ним о делах, не очень откровенно, но и не слишком скрываясь. Оказалось, что новый император обласкал Александра Андреевича и перед ним открывались совершенно неожиданно самые блестящие надежды. Как это произошло, граф не говорил и даже старался (хоть при этом неуверенно смотрел на Иванчука) взять такой тон, будто милость к нему Павла Петровича совершенно естественна – иначе и быть не могло, – а расстроен он накануне был главным образом несчастьем с государыней. Впрочем, о любви своей к покойной матушке Безбородко теперь не очень распространялся, даже в разговоре с секретарем, которому он в общем верил. (Александр Андреевич в общем верил довольно многим людям, но до конца не откровенничал ни с кем. Поступал он так инстинктивно; в переводе же на язык связных суждений инстинкт говорил ему приблизительно следующее: такому-то человеку верить можно – он хороший человек и вообще не продаст, однако если не вообще и если предложат большие деньги, то, пожалуй, и продаст – почему не продать?) Из короткого разговора с графом Иванчук узнал, что дел, должностей и наград теперь будет больше прежнего (наград в последнее время при государыне было – из-за Зубова – маловато).

– Ведь я кто был? – прямо сказал Безбородко. – Золотарь... Ей-богу, золотарь. Что князь Зубов гадил, то я убирал.

По этому прошедшему времени «был» и «гадил» Иванчук понял, что торжество Александра Андреевича гораздо больше даже, чем он дает понять. Совершенно успокоенный, Иванчук сам заговорил об Екатерине.

– Погасло солнце российское: Великая телом во гробе, душою в небесах, – прочувственно произнес он фразу, которую слышал от Шишкова.

– Кто минует непременно смерти? – уклончиво ответил Безбородко и тотчас сел писать какую-то промеморию.

В тот же день Иванчук услышал в трех местах, с разными вариантами, рассказы о растопленном камине и о пакете, перевязанном черной ленточкой, содержавшем завещание государыни, которое Павел Петрович будто бы сжег по совету Безбородко. Уважение Иванчука к уму Александра Андреевича (и без того очень большое) возросло чрезвычайно. Он побывал уже в десяти местах, рассказывая сенсационные новости. Но так как сенсационные новости в эти дни рассказывали все, то ему особенно приятно было зайти к больному, ничего не знавшему Штаалю.

Выйдя в переднюю, Штааль позвал денщика, вручил ему три пятирублевки и отдал распоряжения шепотом (смутно предполагая, что Иванчук в кабинете прислушивается). Два

обеда у Демута (в семь часов еще должны были оставаться обеда) стоили недорого, главный расход составляло обещанное сгоряча море шампанского: меньше двух бутылок было, очевидно, никак нельзя поставить. Штааль тревожно соображал, что если у Демута бутылка шампанского стоит не дороже, чем в «Лондонской» (где он недавно кутил), пятнадцать рублей хватит; если же нет, то выйдет очень неловко, – тогда надо будет все свалить на непонятливого денщика (Штааль чувствовал, однако, что кого другого, а Иванчука на непонятливости денщика не проведешь). Он подумал еще немного и – шепотом приказал денщику сбегать к Юге. Затем, вернувшись в кабинет, Штааль объявил, что к Демуту послано, сел в кресло, чихнул и только жестаами выразил, что смешон, сам чувствует это, просит извинить и умоляет не томить.

Иванчук понес. Начал, разумеется, с завещания Екатерины, устранившего Павла Петровича от престола. Со всеми подробностями сообщил вполголоса (чтоб было страшнее – слышать не мог никто) об участии графа Безбородко в уничтожении этого завещания – при этом дал понять, что сообщает далеко не все, а только то, что можно. Рассказал о безудержной нескрываемой радости нового императора. Государь, по его словам, собирался щедро наградить Мамонова, который семь лет тому назад, в бытность свою фаворитом Екатерины, с большим скандалом и к тяжкому ее горю, изменил ей и женился на княжне Щербатовой. (Мамонову и в самом деле вскоре был пожалован графский титул Российской империи.) С юмором говорил Иванчук об отчаянии князя Зубова, вдобавок ко всему оставшегося без квартиры; о Михаиле Илларионовиче Кутузове – он при жизни государыни собственными руками готовил для Зубова кофей и сам относил его князю в постельку, а теперь мог быть в большом беспокойстве; о Нелидовой, долголетней любовнице Павла Петровича, как назло поссорившейся с ним незадолго до его восшествия на престол (все, впрочем, надеялись, что Катерина Петровна помиритя с императором: Нелидову любили за ее незлобивость и бескорыстие); о Ростопчине, который после воцарения своего друга стал будто выше ростом, не сразу узнавал знакомых и, только пощурившись немного, любезно кивал им головою, впрочем, не всем и не всегда. То, что рассказывал Иванчук, было очень интересно Штаалу, как всем, ибо относилось ко двору и к первым сановникам империи.

Денщик принес обед: гласированную семгу, утку в обуви с солеными сливами, соус «поутру проснувшись», девичий крем и две бутылки шампанского. Иванчук удовлетворился тем, что все было от Демута, и не очень ругался, хоть соус «поутру проснувшись» был холодный, а шампанское – теплое. Он ел с большим аппетитом, не умолкая ни на одну минуту.

– А у вас теперь все пойдет по-новому, – воскликнул Иванчук уже на второй бутылке шампанского (военные новости его интересовали мало, и потому о них он вспомнил последними – вообще к военным относился свысока). – Было время, а ныне иное. Знаешь, кто у вас теперь будет первое лицо? Аракчеев... Ну да, Алеша Аракчеев, тот самый, что солдату ухо откусил... Он завтра, кажется, получает генерал-майора... И будет жить во дворце, говорят, в квартире Платона... Видал? Да, уж послал вам Бог сахару! Алешка вас подтянет. Кадетский корпус, говорят, так подтянул, что лучше не надо... Теперь держись. Как поднесет, так один не выпьешь!

– Ну, это мы еще посмотрим, как он нас подтянет, – сказал Штааль задорно. – Гвардия, слава Богу, не кадетский корпус.

– Очень просто как. Павел Петрович, – Иванчук больше не говорил Павлик, – его во всем слушает. Шутить, брат, не будут.

– Ну и мы не будем! – воскликнул разгоряченный новостями и шампанским Штааль. – 1762 год помнишь?

Он сам немного испугался своих слов и попытался замять их легким смехом. Иванчук посмотрел на него.

– Кстати, – сказал он, – уж если ты вспоминаешь 1762 год... Можешь себе представить, Пассек, узнав о кончине государыни, скрылся неизвестно куда – пропал без вести, просто

смех... А Федьку Барятинского, уж как он ни метался ужом и жабою, государь уволил вчистую – не убивай царей... Так этому грубияну и надо. На его место гофмаршалом назначен Шереметев. А Алексею Орлову ничего, сошло – и в ус себе не дует. Говорили, будто его повесят, да провралось, брат, совершенно.

– Вот тебе раз, – сказал озадаченно Штааль. – Ведь из всех убийц Петра главный – граф Алексей Григорьевич?..

– Ну да, кто ж этого не знает? Другие только помогали ему душить – я сам от Барятинского это слышал... Дело, видишь ли, в том, – Иванчук опять понизил голос, – Павел Петрович боится Орлова... У него большие связи в войсках и среди генералитета... Ах да, генерал-адъютантам запрещено носить тросточки на приемах... Голубчик, да ведь я забыл, ведь ты еще ничего не знаешь! У нас по части мундиров перемены страшные. Теперь всех вас нарядят на гатчинский лад... Помнишь старый прусский бироновский кафтан, ну, как в опере-буфф Ненчин носил? Так теперь все будете ходить...

– Не может быть! – воскликнул Штааль.

– Как же, как же... Приказ вышел, все ваши офицеры плачут. И то сказать: красоты никакой... Прощайся, брат, с синим мундиром, кафтан дадут тебе кирпичного цвета, и волосы велено зачесывать назад, в косичку или гарбейтелем. Салом будете мазать... И в экипажах ездить тоже строжайше вам запрещено: либо в дрожках, либо верхом... Хороша погодка, чтобы верхом кататься? – спросил насмешливо Иванчук, показывая рукой на окно (погода была действительно ужасная)... – Уж вам при матушке точно во всех отношениях жилось привольнее... Вообще прожектов и затеев великое множество. Да, – радостно вспомнил он еще. – Пехоты больше нет, велено называть инфантерией. И не взвод, а «плутонг»... И не отряд, а «деташемент». А вместо «ступай!» будете командовать «марш!»... Я уж сегодня слыхал на Царицыном лугу. Ничего, хорошо, только солдаты еще не понимают...

– Но как же, обмундировочные-то хоть дадут, ведь я только что сшил новый мундир, – растерянно спросил, чихая, Штааль, у которого от этих новостей голова пошла кругом.

– А уж этого, голубчик, я не знаю. Едва ли, впрочем, – ответил Иванчук, наливая последний бокал шампанского. – Хуже, братец мой, то, что и на нас, вольных людей, готовится напасть. Губернатором Петербурга, – добавил он, – назначается Архаров. Чай, слыхал? Зверь, братец мой, совершенный. Он, да Чередин, да Чичерин, хуже зверей свет не видал с тех пор, как Шешковский околел. Ты в Москву поезжай, там тебе о них расскажут. Знаешь ли ты, что такое значит «выведать подноготную»? Небось слышал? Это Архаров с Черединым в Москве на Лубянке на допросах гвозди под ногти вбивают – вот тебе и есть подноготная.

Штааль действительно слышал это выражение, но смысла его не знал. Он представил себе, как под ногти вбивают гвозди, и лицо его искривилось. Брезгливо он отставил на стол бокал с шампанским и задумался.

– Впрочем, мне жаловаться грех, – сказал Иванчук. – Наш Сашенька в большом фаворе, и я, сказать тебе правду, и для себя надеюсь хорошего успеха...

С улицы вдруг послышались отчаянные крики и звук какого-то странного инструмента – будто железом били по железу. Иванчук сильно побледнел. Штааль вздрогнул и поспешил к окну. По Хамовой улице со стороны Невского шли огромные люди в высоких меховых шапках с треугольным верхом. Они отчаянно били молотками о железо и орали нечеловеческими голосами:

– Гас-сите огни!.. Гас-сите свет!..

Из всех домов высовывались растерянные лица,

– Нахтвахтеры, – прошептал за спиной Штаалья Иванчук. – Значит, это говорили правду: с нынешнего дня всем велено ложиться спать в девять часов...

Штааль изумленно переводил взор с Иванчука на нахтвахтеров. Он мог поверить чему угодно, только не этому.

В доме против них в одном из окон свет вдруг погас – там задули свечу. Мгновенно за этим окном последовали другие. Через минуту улица стала темна. Издали, понемногу слабея, слышался тот же рев:

– Гас-сите огни!.. Гас-сите свет!..

7

...Дом, неуверенно раскрашенный в разные цвета и выцветший от времени, был старый, елизаветинских или, быть может, даже бироновских времен. На фасаде его, в вырубленных на камне странных зверьках и штучках, в петушьих гребешках, в побитых грифонах, сказалась та мрачная веселость, которая отличает постройки кровавых эпох, – точно строитель хотел и не мог отдохнуть в искусстве душою: захудалый гезель от архитектуры, он, видно, читил и голландцев, и немцев, и итальянцев, но хранил в сердце память Дмитриевского собора во Владимире.

Дом был без сеней, без монументальной лестницы, без двусветной залы с колоннами, без зимнего сада, без всего того, что полагалось иметь у себя богатому русскому вельможе. И комнат было не очень много, не более двадцати во всех трех этажах вместе. Соединяли их узкие темные лестницы и неровные, невысокие, длинные коридоры. Сам владелец дома проводил жизнь в двух комнатах второго этажа. Одна служила кабинетом, другая спальней. Обе были не очень большие, темные и странные.

Первая комната была будто нарочно сделана по образцу старых немецких гравюр, изображающих кабинеты алхимиков. Имелись в ней огромный, косо поставленный глобус с металлическими кругами, собранный, свинченный человеческий скелет, тяжелые каменные и металлические реторты и много других предметов, совершенно не нужных человеку, занимающемуся химией или какой бы то ни было другой наукой. По стенам, в книжных шкафах черного дерева, стояли тяжелые, неудобные, отпугивающие книги. Потолок был дубовый, с тяжелой, скучной резьбой непонятного содержания.

Стены и пол соседней комнаты были выстланы черным сукном с нашитыми золотыми слезами. В комнате этой с одним небольшим окном днем было темно. Мебели имелось в ней мало: невысокая кровать, покрытая черным одеялом, да еще посредине круглый стол. Когда зажигались свечи в тройном серебряном канделябре, на черной скатерти стола красивыми пятнами выделялись рукописи, писанные частью красными, частью черными чернилами; все они были богато переплетены, и все по-разному: в красную, зеленую, черную кожу, в голубой, синий, белый атлас. На переплетах были вытиснены звезды, кресты, пентаграммы, щиты с двуглавым орлом, циркули, лопатки, и прошиты были рукописи золотым шнуром, припечатанным семью печатями, на которых изображалась свернувшаяся в кольцо змея.

Жил в этом умышленно-мрачном доме Николай Николаевич Баратаев, странный человек с душой неизменно серьезной, какая встречается редко, – иногда у монахов-отшельников, иногда у конспираторов-террористов, часто у жильцов сумасшедшего дома. В России таких людей во все времена было больше, чем в других странах; больше было в ней и отшельников, и террористов, и сумасшедших.

8

Тело императрицы Екатерины около недели лежало в опочивальне, а затем было перенесено в тронный зал. Врачи его набальзамировали, как умели. Но умели они плохо, и придворные, которые по два раза в день, вслед за императором и царской семьей, являлись целовать руку скончавшейся государыни, бледнели, исполняя этот обряд, и поспешно отходили от гроба. Об Екатерине почти все совершенно забыли на третий день после ее кончины. Если кто из стариков начинал вспоминать вслух какие-либо умильные черты характера матушки или события ее царствования, на него смотрели со скукой. Успели надоесть также анекдоты и сплетни, неизбежно связанные с переходом престола: за несколько дней все было пережевано. Никто не понимал, почему государыню так долго не хоронят. Общее недоумение еще усилилось, когда в большой галерее, служившей для танцев в дни балов, стали воздвигать необыкновенную постройку: на возвышении, огражденном колоннами, устроили ротонду и с потолка, наподобие круглого шатра, спустили бархатную занавесь с серебряной бахромой и кистями. Этому сооружению было дано имя *castrum doloris*.¹⁵ По дворцу прошел слух, будто государь предполагает короновать тело своего отца, императора Петра III, много лет назад задушенного, до коронации, Алексеем Орловым, и будто тело Петра вместе с прахом государыни перенесут сюда, в большую галерею. Слух произвел впечатление сильное и нехорошее. В этом увидели желание оскорбить память государыни, о роли которой в убийстве Петра теперь вдруг все стали вспоминать втихомолку (а то и громко); тридцать четыре года не помнил никто. Хотя об Екатерине несколько не жалели, оскорбление умершей сочувствия не встречало.

Подробности же того, как все это будет сделано, вызывали смешанное чувство недоумения, страха и любопытства. С самого дня смерти Петра III никто о нем не думал, кроме Павла Петровича, который помнил своего отца. Стали вспоминать, где похоронен убитый император. Обстановка его погребения, после убийства в Ропшинском замке, была довольно загадочная. Однако с помощью стариков-очевидцев удалось разыскать то место, куда в 1762 году закопали императора. Гробовщики и полиция разрыли могилу и с ужасом вытащили полуистлевший, источенный, облепленный землей, но все же сохранившийся ящик. В одной из досок зияла сбоку черная дыра. Никто не решился в нее заглянуть. Запаха, которого боялись люди, разрывавшие могилу, не было слышно...

Ящик, тотчас положенный в великолепный гроб, обитый золотым глазетом с гербами, был открыт в присутствии всей царской семьи и лиц ее свиты.

Император с лицом землисто-бледным стал возле плотника, не спуская с крышки ящика остановившихся глаз. Мария Федоровна для чего-то поддерживала царя под локоть, и это, видимо, раздражало Павла. На румянном лице императрицы была ясно написана совершенная преданность мужу и полное понимание того, как ему тяжело.

Кто-то из лиц свиты держал на подушке золотую корону (хоть коронавание тела еще не должно было произойти в этот день). Другие придворные с ужасом глядели то на золотой глазет гроба, то на землистое лицо и остановившиеся глаза императора.

Плотник, перепуганный до последней степени тишиной, устремленным на него общим вниманием, близостью царя и всего больше тем, что ему в столь непривычной обстановке нужно было делать привычными инструментами привычные движения, нарушавшие тишину, с долотом в руках наклонился над гробом. Ящик с осыпавшейся землей был гораздо ниже нового гроба и лишь немногим уже его, так что трудно было вдвинуть под крышку долото. Плотник ввел его наискось и надавил на рукоятку, не решаясь сразу сильно нажать и боясь задеть армяком золотой глазет гроба. Крышка не поддавалась. Механическая привычка к раз-

¹⁵ Форт скорби (лат.).

беге взяла свое: плотник быстро попробовал доски, передвинул долото и налег. Послышался треск. Крышка поднялась. Император странно согнулся и застыл. Великий князь Константин не вытерпел и, сделав поспешно три шага вперед, испуганно заглянул в гроб. Императрица выпустила руку мужа и зашептала:

– Schrecklich!..¹⁶

Император склонился над ящиком, ухватившись обеими руками за края. Плечи его тряслись, и шпага, которую он носил сзади, странно болталась свободным концом... Вдруг Павел Петрович оторвался от гроба, перекрестился, взял с подушки тяжелую корону, прикоснулся золотом к одной из костей, с ужасом отдернул руки и, отступив на один шаг, не спуская глаз с ящика, знаком приказал крестившемуся плотнику опустить крышку.

По группе лиц свиты медленно шел неясный испуганный шепот: в ящике ничего не было, кроме косы, нескольких костей и полуистлевшего сапога. Не было ни савана, ни венчика, ни иконы...

¹⁶ Ужасно!.. (нем.)

9

После панихиды и коронавания тела наглухо закрытый гроб Петра III был перенесен в Зимний дворец и поставлен на возвышение в *castrum doloris*. Возле него горели высокие восковые свечи, отсвечиваясь на золотой короне, положенной поверх гроба, и на серебряных касках бледных великанов гвардейцев, которые днем и ночью неподвижно стояли по углам у подножия. Рядом на возвышении стоял все еще открытый гроб императрицы Екатерины. Его тяжелая крышка стояла прислоненная к колонне и резала глаз, придавая мрачно-красивой картине *castrum doloris* несимметрический и недоконченный вид. В огромной зале целый день толпились люди. Утром и днем приходил простой народ, робея, поднимался по ступенькам, целовал руку государыни, выпростанную из-под кисеи, которой по шею было прикрыто тело, и проходил, очень довольный выполненным долгом, дивясь роскоши и блеску дворца. Общество же приезжало под вечер. Дворец был освещен слабо; только *castrum doloris* горел огнями бесчисленных свечей. В полутьме колоссальный зал был величествен и прекрасен. Одни и те же люди приезжали каждый вечер, повидать друг друга, поговорить. Среди лиц, отдававших последний долг Петру III, украдкой показывали его убийц. По ночам устраивались дежурства придворных кавалеров и дам, офицеров гвардии и собственно всех желавших. Немногие долго оставались в зале, так как в ней было холодно (окна не закрывались). В соседних же комнатах время проводилось приятно. Пошла мода назначать свидания на дворцовых дежурствах, и пожилые богобоязненные люди неодобрительно качали головами. Были даже жалобы, но на них, в общем переходном неустройстве дел, не обращал внимания никто из новых людей, ведавших новым этикетом.

Штааль с восьми часов устроился в большой проходной затянутой крепом комнате, открывавшейся в зал прямо против *castrum doloris*. В ней свечи вовсе не зажигались. Лишь в камине горел огонь, освещая веером часть комнаты. Штааль сидел в покойном кресле, то наблюдая людей, попадавших в светлую полосу камина, то поворачиваясь к зале и вглядываясь в огни возвышения. Во дворце были знакомые офицеры, был и Иванчук (он приезжал ежедневно на весь вечер), но Штааль не искал их общества, так как поджидал Настеньку. Ждать надо было долго, и, чтоб убить время, он усиленно старался думать и делать тонкие наблюдения.

Спектакль на театре Баратаева не мог состояться из-за траура. Штааль два раза побывал в доме старика (так он упорно называл его в мыслях, хотя Баратаеву было не более пятидесяти лет). Старик собирался в Италию, и отчасти в связи с этой поездкой, отчасти независимо от нее ему нужен был секретарь; он, впрочем, ни разу не употребил этого слова и обязанности нужного ему лица определял не вполне ясно: по-видимому, надо было помогать ему – не то в научных изысканиях (с которыми связывалось путешествие за границу), не то в практических делах. Кроме знания иностранных языков ничего не требовалось. А жалованье Баратаев предлагал такое щедрое, какого Штааль и не ожидал. Обращение старика было самое учтивое: он даже продолжал говорить Штаалу не только по-французски, но и по-русски «вы», что в ту пору по отношению к молодым людям было довольно необычно. Во время визита он угощал Штаала вином, которое называл мальвазией, и, подливая, по-старинному говорил: «Совершенная дрянь-с», – хотя вино было превосходное.

«Отчего же временно не принять? – думал Штааль. – Не понравится, уйду, вернусь в полк... Отпуск на три месяца мне, конечно, дадут – я до сих пор ни разу не брал отпуска... Интересно ведь поглядеть на Италию... Но главное, конечно, едет ли Настенька...»

Это действительно было самое главное. Однако старика об этом никак нельзя было спросить. Ответа на вопрос Штааль ждал от самой Настеньки. Свидание было назначено ей длинным страстным письмом, над которым он работал два дня, взяв в офицерской библиотеке

Карамзина и «Новую Элоизу». Ответное письмо Настеньки, не очень грамотное, но чрезвычайно милое, Штааль носил на груди и был недоволен тем, что карман приходился не на самом сердце. Настенька принимала свидание в зале дворца. Но освободиться она могла лишь к десяти часам вечера. Штааль рассчитывал повести ее в ресторан. О дальнейшем он не смел думать – так он говорил себе словами романов, когда, замирая, думал об этом дальнейшем: ни о чем другом он не думал в два дня, следовавшие за получением письма Настеньки.

Штааль посмотрел на часы – было девять. Он вздохнул и занялся наблюдениями. Для наблюдений место его было очень удобно. Почти все посетители проходили по черной комнате; многие останавливались и грелись у камина. Были здесь и сановники прошлого царствования, отличавшиеся видом несколько ироническим и растерянным. Их Штааль всех знал в лицо (это доставляло ему удовольствие). Реже попадались новые люди. У них, напротив, выражение было довольно пренебрежительное, точно они хотели показать, что вовсе им незачем здесь быть, что есть у них пропасть других, важных дел, но что они, несмотря на все, исполняют по доброй воле, из приличия эту не очень нужную формальность. И действительно, новые сановники не задерживались во дворце: поспешно всходили в *castrum doloris*, с озабоченным видом целовали государыне руку (никто, кроме простого народа, в действительности ее не целовал: все только нагибались и делали движение ртом, оставляя расстояние между рукой и губами) и быстро уходили: одни вниз по парадной лестнице, другие, самые важные, в покои нового императора.

Иванчук, разыскавший скоро Штааля, присел на ручку его кресла и положил Штаалю руку на плечо – это свидетельствовало о том, что он был во дворце свой человек и мог даже оказывать покровительство. Иванчук охотно бывал в обществе Штааля. Почти у всякого молодого человека имеет в жизни значение другой молодой человек, сверстник и соперник, на которого он поминутно оглядывается, щеголяя перед ним своими успехами, дразня его удачами, ревниво следя за его карьерой. Таким соперником, несмотря на различие их поприщ, был для Иванчука Штааль, и сравнение с ним Иванчук почти всегда и во всем считал для себя выгодным. Покровительственно похлопывая Штааля по плечу, Иванчук называл вполголоса по именам проходивших новых людей (он уже знал в лицо их всех, а с некоторыми даже оказался знаком): Куракиных, Кутайсова, Плещеева, Данаурова (Аракчеева, о котором много говорили, в этот вечер не было во дворце). Когда по черной комнате с легкой усмешкой прошел, нервно теребя пуговицу, Ростопчин, Иванчук поспешно встал с ручки кресла и почтительно поклонился. Штааль почти механически сделал то же самое (да еще звякнул шпорами) и потом долго краснел, вспоминая прищуренные недоумевающие глаза и небрежный, еле заметный поклон Ростопчина.

– Знаешь, кто это? – вдруг зашептал над его ухом Иванчук, показывая взглядом на нескладного, дурно носившего мундир бригадира, который неловко вошел в комнату и остановился у камина. – Бобринский, сын Екатерины.

– Сын государыни? Ах да, от Потемкина?..

– Какой ты вздор несешь! От Григория Орлова. Или ты не помнишь? Он родился еще при жизни Петра, и Шкурин поджег свой дом, чтобы спасти матушку от беды...

– Как поджег дом?

Иванчук, видно, наслаждался эффектом своего сообщения и подавал его не торопясь:

– Ты не знаешь этой истории?.. Видишь ли, покойный Петя (Штааль не сразу догадался, что Петя – император Петр III) очень любил пожары и, где чуть что, всегда ездил смотреть... ан, когда настал час матушке родить, – что тут делать? как от Пети скрыть? – Шкурин возьми да подожги свой дом на краю города... Государь тотчас поскакал туда на всю ночь, а матушка тем временем разрешилась от своего бремени... На следующий день встала на ноги как ни в чем не бывало – здоровье ведь у покойницы было неизобразимое... Неужто ты не слышал?

– Враки, – ответил недоверчиво Штааль.

– Ничего не враки. После ропшинского дельца Екатерина было пожаловала сынку титул князя Сицкого, да как-то вышло неловко: ведь Сицкие, древняя фамилия, родовитее Романовых: они идут от князей ярославских. Конфуз, и нам, дворянству, обидно: как-никак, бастард. Так вот его переименовали в Бобринские, по пожалованному имению Бобрики... Матушка сына держала в черном теле, ну, так государь, разумеется, осыпает милостями: пожаловал ему графский титул, штегельмановский дом, а на днях даже громко назвал его братцем... Об этом весь Петербург говорит, один ты, конопляник, ничего не знаешь.

– А это кто с ним разговаривает? – спросил Штааль.

У камина с Бобринским остановился высокий немолодой кавалерийский генерал с умным и странным, противоречивым лицом: с губ его не сходила приветливая благодушная улыбка, но глаза у генерала были холодные, стеклянные.

– Не знаю, право, не могу вспомнить, хоть где-то мы, кажется, с ним имели знакомство, – смущенно сказал Иванчук. – Погоди...

Он отошел, с кем-то поговорил и вернулся к Штаалю с успокоенным видом:

– Немудрено, что я его не знаю: он, оказывается, приехал из Риги представляться... Да и ничего, брат, особенного: немецкий фон-барон, генерал фон дер Пален...

Штааль, не дослушав Иванчука, быстро сорвался с кресла. Вдали, во входившей группе молодых женщин, он увидел Настеньку.

10

Настенька приняла приглашение Штааля, потому что он очень ей нравился. Понравиться Настеньке было нетрудно. Почти ко всем мужчинам, ласково на нее смотревшим, она чувствовала сердечную признательность, которая легко и быстро могла превратиться в любовь. Физической любви Настенька не придавала большого значения, и ей трудно было отказать в ней предприимчивому человеку, если в нем не было ничего противного и если он очень этого хотел. Хотели этого многие, однако любовников у Настеньки было крайне мало для артистки, которую даже строгие судьи признавали очень миловидной, а снисходительные – называли красавицей. Чаще всего между ней и людьми, которые ей нравились, становились случайные внешние препятствия. В любовной жизни Настеньки, как у громадного большинства людей, особенно женщин, эти препятствия, – отъезд, надзор, недостаток времени, отсутствие места для встречи, всего больше недостаток денег, – имели огромное значение. Иногда, думая о своей жизни (Настеньке редко случалось о ней думать), она сама дивилась тому, как все это странно вышло, как мало значения имела ее воля, ее желания во всем том, что с ней происходило. Поэтому она была набожна и особенно очень суеверна. Она знала все приметы: не клала пряжи на стол – сорок грехов наживешь; не оставляла ножа на столе – лукавый зарежет – и ждала гостей, когда дрова разваливались в печи; знала также лучшие ходы против каждой приметы, тщательно обдумывала сны и, хоть строго исполняла все религиозные обряды, кроме очень обременительных, но приметам и обходам примет придавала про себя гораздо больше значения. Она несколько месяцев была близка с актером-вольтерьянцем, который научно разъяснил ей неосновательность суеверия, называл все приметы бабьим вздором и строго запрещал ей стучать по дереву в тех случаях, когда это предписывала мудрость столетий. Настенька покорно слушала актера, восхищалась его умом и ученостью, но стучала по дереву от него тайком. Актер, человек раздражительный, скоро ее бросил. Она не слишком этим огорчилась и почти не сердилась на актера. Настенька была чрезвычайно добра; во всем мире она ненавидела только двух женщин, из которых одна была артистка и чрезмерно важничала, а другая оклеветала Настеньку перед красивым офицером-преображенцем. По-своему Настенька была и очень неглупа, и чрезвычайно наблюдательна. И если Николай Николаевич Баратаев считал ее совершенной дурой, то главным образом потому, что не понимал женского ума: он считал дурами всех женщин, начиная с самой Екатерины.

Баратаеву Настенька вместе со всей труппой досталась по наследству от дяди. Прежний их владелец был страстный театрал, нанимал для артистов учителей и приглашал к ним Дмитревского. Баратаев же только раз пришел на спектакль, который ставила труппа, и не досидел до конца представления. Но тотчас согласился на все просьбы труппы и назначил актерам жалованье. Настеньку он заметил во время спектакля, поговорил с ней недолго, видимо тяготясь разговором, и затем равнодушно предложил ей прийти к нему вечером. Она была крайне польщена и тронута – тем, что он предложил, а не велел ей прийти. Все поздравляли Настеньку – как было не поздравлять? Но ей было боязно: артисты, расширяя глаза, говорили, будто новый хозяин – фармазон; он показался ей страшен, он, и весь дом его, и особенно черная спальня. Впрочем, Настенька не была лишена насмешливости и потом улыбалась, вспоминая, что спал ее новый владелец хоть и в черной комнате и под одеялом черного цвета, но не на досках, а на мягкой перине. В первый же день через управляющего ей были в конверте доставлены отпускная и деньги. Отпускная ничего не изменила в жизни Настеньки и так и пролежала у нее год, в том ящике шкапа с бельем, где хранились ее самые ценные вещи: письма трех человек, которых она любила больше других, золотое колечко с рубином и большой граненый флакон настоящих французских духов (она этими духами пользовалась только в самых торжественных случаях, а обычно душилась «Вздохами Амура» рижского производства). Старый актер, кото-

рому она раз показала свою отпускную, сказал, что документ составлен не по форме и не имеет никакой силы. Это известие тоже не очень огорчило Настеньку, так как она чувствовала, что без хозяина ей все равно не обойтись – не этот, так другой; а этот был лучше, чем другие.

Она, однако, не полюбила Баратаева, хотя, казалось, не имела причин не любить его: он был щедр и учтив с нею. Она чрезвычайно его боялась, особенно потому, что он смотрел на нее почти как на собаку; заговорить с ней как с человеком ему просто не приходило в голову.

Штаалья же Настенька полюбила с первой встречи (по крайней мере, так она потом себе говорила). Он был беден и тщательно это скрывал. Скрывал он свою бедность довольно искусно; однако Настеньку можно было – и даже очень легко было – обмануть чем угодно другим, но никак не этим. И ее особенно трогало, что молодой красивый офицер в блестящем гвардейском мундире проделывает все те фокусы прячущейся бедности, которые она так хорошо знала. Ей-то, собственно, прятаться не приходилось: все понимали, что у нее ничего нет; но самая профессия артистки требовала, на сцене и в кулисах, постоянной подделки под роскошь.

Штааль, разыгрывавший перед нею роль богатого офицера-кутилы, не знал и не думал, что Настенька, раздобыв его адрес, тайно приходила в дом, в котором он жил, и выспрашивала о нем дворника. Ей стало, таким образом, известно, что он живет в двух комнатах, не имеет прислуги, кроме денщика, и не держит лошадей; что он иногда сидит без гроша; что из ресторана по нескольку раз приходят со счетами; что лавочник говорил даже нехорошие слова и грозил жаловаться начальству офицеришки. Для чего Настенька тайком приходила наводить справки о Штаале, едва ли было ясной ей самой: никаких денег она от него не ждала, а может быть, и не приняла бы. Но сведения эти (особенно о лавочнике) доставили ей тайную отраду. Если б оказалось, что Штааль живет в собственном дворце, имеет десятки слуг и лошадей, это тоже было бы приятно Настеньке, но по-иному и не так приятно. Она, разумеется, желала Штаалю всякого добра, но при мысли о том, что у него никого и ничего нет, что ему часто приходится туго, у ней по ночам, как если б она его ненавидела, сладко сжималось сердце. Мысленно она его называла «маленький», хоть он был среднего роста и только пятью годами моложе ее. Из любви к нему она при встречах своими замечаниями и вопросами давала понять, что считает его тем богачом-кутилой, под роль которого он почти бессознательно подделывался.

Штааль, собственно, не хотел обманывать Настеньку и, как правдивый человек, только редко лгал без необходимости. Но роль гвардейца-мота, в которую он, по его мнению, сразу попал в глазах Настеньки, была все же приятная роль; выходить из нее не хотелось, а после первых дней знакомства было уж и не так удобно. Для успокоения совести Штааль говорил себе, что женщин надо брать обаянием силы и богатства: он не знал, что одни этого достигают силой и богатством, другие – слабостью и бедностью. В его положении было возможно лишь второе, да он и сам тревожно задумывался – что же будет потом? Очевидно, Настеньке пришлось бы назначить содержание. Но где его взять? Как сказать ей правду? Как она правду примет? Штааль гнал от себя эти мысли. В этот вечер у него были деньги; он предполагал повезти Настеньку за город, и счастье, которого он ждал от ночи, вытесняло все тяжелые мысли и заботы. «Не все ли равно? Хоть день, да мой!» – говорил он себе все решительнее.

Настенька тоже много ждала от свидания. Две ночи подряд она провела с утиральником Венеры на лице: от веснушек мазала нос раздавленными сорочьими яйцами, натирала для гладкости щеки дынным семенем, тертым с бобовой мукой, а отправляясь в Зимний дворец, надушилась французскими духами из граненого флакона, чуть подрумянилась кошенилью и выбрала самую модную мушку, изображавшую карету четверкой. В таком виде никто не мог ей дать более двадцати двух лет. На самом деле ей было двадцать восемь, и немало огорчения доставляло ей то, что женщины гораздо старше, которых она знала, тоже любили мальчиков и что над ними из-за этого втихомолку смеялись.

* * *

Настенька пришла на полчаса раньше условленного времени. Несколько артисток собрались вместе для посещения дворца. Настенька мало их знала, хоть с ними брала уроки у Дмитриевского. У них были общие интересы по пьесам, которые они играли, по знакомым, которые за ними ухаживали. Но все же положение их было совершенно различно, в зависимости от того, каков был их хозяин. Среди них три были крепостные и две вольные, но и вольные зависели от хозяев. Все они кое-чему учились и, за исключением познаний во французском языке, мало отличались по образованию от дам и даже от многих мужчин лучшего общества. Близости между актрисами особенной не было – они условились пойти во дворец вместе только потому, что в одиночку было бы боязно. Должна была идти с ними еще шестая, но она как раз в этот день за плохо выученную роль Армиды была на двое суток посажена на стуло. Разговор всю дорогу и шел о строгости владельца этой артистки. Говорили о нем с ужасом и с затаенным интересом.

Настенька намекнула своим спутницам, что должна встретиться во дворце с одним конногвардейским офицером. Когда Штааль, весь вспыхнув, подошел к ним, артистки с любопытством оглядели его с ног до головы и тотчас простились с Настенькой, подчеркивая свою скромность и знание приличий. Штааль даже не посмотрел им вслед, хоть редко не оглядывался на молодых женщин.

– Еще нет десяти, – радостно сказал он, от смущения зачем-то вынимая часы, как если бы ему было неприятно, что она пришла получасом раньше, и еще больше покраснел, сообразив нелюбезность своего замечания. Настенька тоже сконфузилась, хотела сказать что-то в свое оправдание, но встретила его влюбленный взгляд и улыбнулась. Штааль оглянулся – его кресло уже было занято, – он сердито посмотрел на того, кто его занял, и подвел к камину Настеньку, которая тотчас стала усиленно греть руки у огня, скрывая свое смущение. Штааль, до того все обдумывавший, как бы деликатнее разузнать, едет ли Настенька за границу, в первую же минуту прямо ее спросил об этом и замер от радости, услышав ее ответ: ей как раз накануне Баратаев кратко сказал, что собирается с ней в Италию. Но толком она еще ничего не знала: не решилась задавать вопросы, как ни удивило, ни обрадовало и ни испугало ее это известие.

– Так и я же поеду с вами! – горячо воскликнул Штааль.

Настенька задумалась, спрашивая взглядом, говорит ли он правду и хорошо ли это, если он в самом деле с ними поедет.

– Вам служить надо, – нерешительно сказала она.

– Я возьму отпуск...

Она радостно кивнула головой, точно теперь решила, что это хорошо, и протянула ему руку. Он быстро поцеловал ее, вспыхнул и оглянулся: никто не обратил внимания. Настенька тоже покраснела: артисткам не целовали рук.

– Настенька, поедем кататься за город, – сказал Штааль умоляющим голосом.

Она опять немного подумала, как после каждого его замечания, – все боялась ответить не так, как требовалось.

– Только вы о катаньях думаете, все вам, проказе, проказничать, – строго сказала она и тотчас добавила: – Да ведь у вас дежурство?

Штааль махнул рукой:

– Какое дежурство! Никто и не думает дежурить... Померла старушка, поплакали, и будет...

Настенька широко раскрыла глаза:

– Это государыня-то? Не стыдно вам!.. Такая красавица была! Другой такой не сыщешь...

– Можно сыскать другую, и даже далеко ходить незачем, – галантно сказал Штааль.

Она быстро недоверчиво на него взглянула, хоть как будто ждала этого ответа.

– Уж я не знаю, где это вы другую такую сыщете, – сказала она, вспыхивая. – А я пришла проститься с государыней...

Настенька повернулась и пошла в большую галерею. Штааль, очень собой довольный, последовал за ней. Она поспешно оглянулась, тряхнула головой, ускорила шаги и со строгим выражением на лице стала в очередь, которая образовывалась перед узкой лестницей, поднимавшейся в проход *castrum doloris*. Штааль остановился на пороге залы, уступая место дамам: в хвосте между ним и Настенькой успело стать несколько человек. Он увидел ее на верхней ступени лесенки и задержался глазами на ее шелковых чулках. Настенька опять оглянулась, поймала его взгляд и, быстро поправив юбку, скрылась в ротонде.

Очередь передвигалась быстро. Сильно запахло ладаном и еще чем-то непривычным. Штааль очутился на возвышении. Перед ним снова мелькнула в желтом свете свечей бледная крестившаяся Настенька, и тотчас ее опять заслонили... Щурясь от света, он старался не смотреть по сторонам и небольшими неровными шагами подвигался вперед, следуя за движениями других и делая то, что делал штатский господин впереди его. Вдруг сбоку показалось что-то желто-белое, страшное... В памяти Штааля мелькнула государыня в Среднем Эрмитаже, потрепавшая его по щеке, когда он там целовал ей руку... Он чуть не вскрикнул, сжал зубы, толкнул замешкавшегося господина, который испуганно смотрел на золотую корону, и, быстро пройдя мимо него, спустился по выходной лестнице ротонды.

Настенька, сидя на небольшом диване (около *castrum doloris* диваны были не заняты), вытирала платком глаза. Перед ней стоял Иванчук.

– Настенька, тужур белль, – говорил он. – Ну, как живем?

Он увидел Штааля и почему-то немного смутился: Иванчук знал об их романе, как вообще знал все обо всех. Он многозначительно улыбнулся и подмигнул Штаалю.

– Здесь теперь все встречаются, – сказал Иванчук, показывая тоном, что ему-то вполне естественно тут быть, а вот удивительно, как она сюда попала. – Особливо влюбленные парочки. И то сказать, место: они ведь тоже были влюбленной парочкой, – сказал он, показывая рукой в сторону ротонды, и засмеялся своим неполным, неуверенным смехом.

Штааль не ответил даже улыбкой, а Настенька немного изменилась в лице.

– Сидеть здесь нет ни резону, ни радости, – продолжал Иванчук. – Пойдем... Ведь ты хотел повеселиться за городом? И добрая мысль – ночь хорошая, не холодно, только снегу, жаль, мало. Я вас провожу... Да не сюда, так гораздо ближе...

Он повел их в вестибюль кратчайшей дорогой, которая была хорошо ему известна.

11

– Куда бы нам поехать? – спросил Штааль, выходя из дворца и с недовольным видом оглядываясь на Иванчука, который вышел вместе с ними. – Настенька, хотите на Мельгуневский остров?

– Ну нет, зачем на Елагин остров? – ответил уверенно Иванчук. – В Петербурге теперь от полиции нигде нет проходу, того и гляди нарвешься на скандал. Махнем-ка в «Красный кабачок»? Туда нахтвахтеры пока не суют носа... А?

«Он, что же, с нами собирается ехать? Экой прилипчивый!» – подумал, морщась, Штааль.

Иванчук, по-видимому, угадал его мысль и, взяв Штааля за рукав, сказал ему тихо, так, чтобы Настенька не слышала:

– Вот что, монкер, ты не бойся, я тебе мешать не буду. Доедем до «Красного кабачка» вместе, а там ни вью, ни коню: у тебя твое, у меня мое...

«Разве что так», – подумал Штааль, удовлетворенный тем, что общество устами Иванчука уже признавало его преимущественные права на Настеньку. Кликнув извозчика, Штааль приказал громким голосом:

– В «Красный кабачок»! И живо: два рубля на водку...

«Почему два? Экой я дурак!.. Надо было сказать: три рубля...»

Иванчук посмотрел на него с неудовольствием и твердо решил, что уже из этих двух рублей он никак не возьмет на себя половину: «Никто его не просил сулить на чай за мой счет. И совсем это не нужно: что за мальчишество!» – додумал он: втайне он надеялся, что совсем не будет платить.

Венская карета, перенесенная с колес на полозья, была небольшая, с узким сиденьем спереди. Иванчук скромно хотел было сесть спиной к лошадям. Штааль из вежливости запротестовал в качестве хозяина Настеньки. Начался вечный спор людей, сающихся в экипаж.

– Да сядем рядом, втроем поместимся, и теплее будет, – сказала Настенька, опуская муфту, которой она прикрывала рот: ночь была не очень холодная, но все известные артистки и певицы прикрывали вечером рот муфтой.

– И то правда, – подхватил настроенный сговорчиво Иванчук.

Штааль поднял брови. Втроем сесть рядом было трудно, и если б Настеньку посадить посередине, то она оказалась бы на коленях у него и у Иванчука, который, по-видимому, ничего против этого не имел. Штааль первый вскочил в карету, помог взойти Настеньке и без разговоров, с решительным видом, усадил ее к себе на колени. Она было пискнула, но не сопротивлялась. Штааль, задохнувшись от счастья, взял из ее рук муфту и положил рядом с собой на сиденье кареты. Для Иванчука оставалось достаточно места по другую сторону муфты.

– Ну, садись же, – сказал Штааль, глядя на него с видом ироническим и торжествующим. Иванчук негромко хихикнул, но послушно сел на указанное ему место. Карета тронулась. Первое время разговор не клеился. На вымощенных улицах сани трясло – снега было мало, – и раза два их шатнуло так сильно, что лица Настеньки и Штааля как-то встретились на боковой стенке кареты. Толчки повторялись (даже после того, как экипаж съехал на немощеную улицу), и Штааль немного им помогал, все больше пьянея от счастья. Настеньке было тоже очень приятно, хоть и не так, как ему: сидеть было твердо, нельзя было опереться, и немного ее тревожило, все ли у нее в порядке сзади: как волосы, не запачкан ли воротник?.. Она сильнее прежнего чувствовала, что в любую минуту может без памяти влюбиться в «маленького», если еще не влюбилась, – но, кажется, уже влюбилась без памяти, – ну да, конечно, с первого дня... Иванчук философски пожимал плечами, хихикал, а при одном особенно сильном толчке ска-

зал даже отечески: «Веселитесь, веселитесь, детки...» В действительности их игры были ему неприятны.

На заставе, которой, из-за новых порядков, побаивался Иванчук, все обошлось вполне благополучно. Сторож спросил было спросонья подорожную, но сам ухмыльнулся, подбежав к карете, и благодушно махнул рукою. Они выехали на Петергофскую дорогу и понеслись стрелюю. В окнах загородных дач по сторонам таинственно мелькали редкие огни. Было немного страшно, Штааль был счастлив, как никогда в жизни.

Иванчук, прижавшись к своему стеклу кареты, называл имена владельцев дач: чем знатнее и богаче был владелец, тем с большим удовольствием он его называл, точно это Сее были его родные. Трудно было понять, как он различал дачи в темноте (он и в Петербурге знал чуть ли не все дома – какой кому принадлежит). Когда они промчались мимо дачи Ба-ба, Иванчук особенно оживился и напомнил, как они с Штаалем здесь кутили в первый месяц их знакомства. Воспоминание это было приятно Штаалю (ему было очень хорошо в тот месяц) и вдобавок поднимало его престиж в глазах Настеньки. Но, к большой его досаде, Иванчук заявил, что, по его сведениям, Штааль именно здесь, на даче Ба-ба, впервые постиг тайны любви. Настенька расхохоталась чрезвычайно весело (ее растрогало это сообщение). Штааль сконфуженно отрицал сведения Иванчука. Но тот уверенно настаивал на своем, предлагая доказать. В конце концов засмеялся и Штааль, подумав, что Настенька ведь не знает, когда именно это было, и, следовательно, не может сделать выводов, обидных для его самолюбия. Разгоряченный Иванчук стал напоминать разные подробности. Настенька хохотала все веселей, хоть ей было стыдно.

– Да, да, – говорил, улыбаясь, Штааль. – А ведь давно мы с тобой, брат, ведем знакомство...

Он желал переменить разговор. Ему вообще не нравился тон Иванчука, его грубоватая манера разговора в присутствии дамы: он не раз видел, как Иванчук, багровея, хватал мало-знакомых женщин и говорил им самые непристойные вещи в полной победоносной уверенности, что это и есть самая лучшая, самая модная манера ухаживания: прежде все это могло быть иначе, а теперь признано необходимым поступать именно так. Штааль знал также, что уверенность свою Иванчук иногда передавал женщинам и вообще имел у них недурной успех, значение и размер которого он, впрочем, сильно преувеличивал. Манера Иванчука теперь, в присутствии Настеньки, особенно не нравилась Штаалю. Но вместе с тем он чувствовал, что его интимность с Настенькой растет от вольного тона. Иванчук, как всегда, шутил долго и упорно. Раз установив тон разговора с человеком, он вообще нелегко и неохотно из этого тона выходил: ему уже было бы трудно говорить с Настенькой и Штаалем иначе как грубовато-шутливо, с отеческим оттенком, точно они были гораздо моложе его.

Фонари стали учащаться, откуда-то сбоку показался яркий красноватый свет. Вдали послышалась музыка. Сани подъезжали к «Красному кабачку». Штаалю было жаль, что они так скоро приехали: в карете было прекрасно. Он чувствовал легкое беспокойство, которое свойственно людям, впервые приезжающим в шумное общеизвестное место. Несколько мальчиков в красных костюмах бросилось им навстречу с красными бумажными фонарями. Один мальчик еще на ходу откинул подножку замедлившей движение кареты и заскакал на одной ноге, держа другую ногу на подножке и ухватившись рукой за ручку двери. Свет все усиливался, и звуки музыки становились громче.

12

Иванчук поспешно соскочил, помог Настеньке выйти из кареты и галантно под руку проводил ее на крыльцо, предоставив Штаалю расплату с извозчиком. Настенька остановилась на крыльце и, не оглядываясь, читала какую-то афишу: она знала, что не нужно смотреть на мужчин, когда они расплачиваются, – всегда может выйти неловкость или даже неприятность. Иванчук неторопливо вернулся к карете после того, как извозчик низко снял шапку (вместо обещанных двух рублей на водку Штааль сгоряча дал ему пять).

– Combien?¹⁷ – спросил Иванчук, опуская руку в карман.

– Оставь, – пренебрежительно ответил Штааль.

– Никогда в своей жизни не позволю, – решительно возразил Иванчук, вынимая руку из кармана. – Собственно, сегодня мой черед платить. Ну, да так и быть, давай пополам...

– Оставь, – повторил Штааль еще пренебрежительнее: он знал по долгому опыту, что Иванчук всегда легко уступает в таких случаях, и не отказал себе в удовольствии: саркастически усмехнулся. Иванчук, однако, совершенно не заметил этой усмешки и бросил небрежно:

– Ну, мы с тобой сочтемся.

Толстый старый швейцар настежь открыл дверь и, почтительно наклонив в сторону булаву, кланялся гостям. Настенька, еще более умиленная щедростью Штааля (она и не оглядывалась на них, а все видела), вошла в переднюю «Красного кабачка» и остановилась перед зеркалом. Огонь свечей рванулся в сторону от ветра и стал выпрямляться. Музыка замолкла, издали послышалось несколько хлопков, затем смех. Швейцар, поспешно снимая шубы, сразу совершенно верно расценил гостей: понял, что платить будет не штатский (он его знал в лицо и не рассчитывал с него поживиться), а офицерик, и что заплатит офицерик хорошо, хоть денег едва ли у него много. Настенька поправляла волосы, мужчины украдкой через ее плечо поглядывали в зеркало.

– Много нынче народа? – спросил тоном завсегда Иванчук.

– Еще будут-с, – ответил швейцар, открывая дверь.

В первой комнате за стойкой сидела старая немка, вся увешанная медалями. Больше никого не было. Штааль вежливо ей поклонился первый (немка тотчас потеряла к нему уважение, которое она отпускала в кредит новым гостям) и приостановился, поправляя галстук и пропуская вперед Иванчука: он, на беду, никогда не был в «Красном кабачке» и не желал это обнаружить. Иванчук уверенно открыл перед Настенькой следующую дверь. Он вошел приосанившись; Штааль – горбясь: так по-разному у них выражалось смущение.

В большой комнате гостей было немного, и сразу чувствовалось (в особенности по хмурым лицам официантов), что настроение вялое. Замешкавшийся скрипач с виноватым видом укладывал инструмент в ящик. У окна человек шесть играло в карты, тоже вяло, судя по тому, что игроки оглянулись на вошедших, а один из них продолжительным взглядом осмотрел Настеньку с ног до головы. Настоящая игра, совет царя Фараона, шла в дальней комнате, а здесь, за недостатком в той места, устроились не настоящие игроки. Столики, покрытые белыми скатертями, были большей частью не заняты. Только в углу, за тремя сведенными вместе столами, усиленно кутила какая-то компания. Штааль никого в ней не знал, но видел, что это господа не первый сорт: офицеры армейских полков и второклассных гвардейских (офицерам лучших полков гвардии их обычай в ту пору строго запрещал кутить с армейцами), двое штатских и несколько дам, сидевших вперемежку с мужчинами, что считалось неприличным: в обществе всегда сажали дам по одну сторону стола, а мужчин по другую. На столе стояли всего две бутылки шампанского и тарелка с вафлями, которыми славился «Красный кабачок».

¹⁷ Сколько? (франц.)

Иванчук кому-то поклонился с приятной старательной улыбкой и тотчас покосился на Штааля, как бы приглашая его оценить это знакомство. Но штатский, которому он поклонился (позже оказалось, что это богатейший киевский помещик), ответил не сразу, без всякой улыбки и несколько удивленно, точно не зная, с кем имеет дело.

Лакеи, оживившись при входе новых гостей, с низкими поклонами отодвинули перед Настенькой стол в другом углу. Настенька села конфузясь и от застенчивости обмахивалась веером, хоть ей еще никак не могло быть жарко. Иванчук, прищуриль глаза, поспешно отстранил карту вин, которую почтительно раскрыл метрдотель на странице шампанских, и заказал устрицы и бутылку портера. Хотя это сочетание было очень модным, метрдотель отошел с несколько обиженным, холодным выражением. Штааль тоже был недоволен тем, что Иванчук распорядился, не спросив ни Настеньку, ни его (он не успел вмешаться). Смущена была и Настенька: она не совсем твердо знала, как едят устрицы.

Иванчук, отпустив метрдотеля, вскочил и с той же приятной улыбкой направился к большому столу, за руку поздоровался с киевским помещиком, достойно раскланялся с компанией и немного поговорил: каждый счел его знакомым другом. Через некоторое время он уже вошел в это общество. Собственно, цели он при этом никакой не преследовал, так как важных особ здесь не было, а богатством киевского помещика он, очевидно, не мог воспользоваться. Но Иванчук так поступал по бессознательным побуждениям общительности и любви к знакомствам с приличными людьми. Перезнакомившись, он вернулся к своему столу в очень хорошем настроении и тотчас вполголоса назвал, как будто обращаясь к Настеньке, но в действительности сообщая это Штаалю, имя помещика и число принадлежащих ему душ и десятин, которое сильно увеличил. Потом принялся за устрицы, пил портер и говорил без умолку, все похваливая «Красный кабачок», объясняя случайностью и трауром недостаток оживления в эту ночь и отсутствие видных людей. Он говорил так, точно был здесь хозяином.

– Ты знаешь, Екатерина останавливалась в «Красном кабачке» на ночь в 1762 году при походе на Петю. Может, здесь изволила забавляться с Алексеем Григорьевичем (Орлова Иванчук не называл Алешей)...

Настенька кивала головой, притворяясь, будто знает, кто такой Алексей Григорьевич и какой был поход в 1762 году. Ее мысли были сосредоточены на том, чтобы не совершить никакого неприличия: она украдкой посматривала на Штааля и делала с устрицами все то же, что делал он. Настенька слышала, что устрицы живые, и ела их с ужасом, думая о том, как им, должно быть, больно, когда их отрывают вилкой. Штааль пил портер и от непривычки к этому напитку становился все нервнее.

Иванчук подметил его недобрый взгляд и внезапно позвал его в другую комнату, к стойке с крепкими напитками.

– Настенька, mille pardons,¹⁸ – сказал он, поясняя Штаалю значительным взглядом, что имеет секретное дело.

«Если денег попросит, не дам, – сердито подумал Штааль. – За ним второй год моих двадцать пять...»

– Вот что, – сказал за дверью Иванчук вполголоса отеческим тоном. – Ты чего глазоплатова платишь?

Штааль удивленно смотрел на него.

– Ты зачем сюда с Настенькой приехал? Дождался случая, так пользуйся, – в голосе Иванчука проскользнула вдруг зависть, и улыбавшееся отечески лицо его на мгновение стало жестким.

– Здесь кабинеты есть? – спросил глухо Штааль.

¹⁸ Тысяча извинений (франц.).

– Зачем кабинеты, есть лучше. Об избушках слышал? Избушки Петергофской дороги... Снаружи elles ne raent pas de la mine,¹⁹ – с усилием выговорил Иванчук, очевидно гордившийся этим выражением. – Но внутри – ничего лучшего желать нельзя. Я много раз бывал... Хочешь, я тебе это аранжирую через здешних мальчиков?

– А ты? – поспешно спросил Штааль, у которого голова закружилась при мысли об уединенной избушке.

– А я, Бог даст, без вас обойдусь, – насмешливо сказал Иванчук. – Может, своего счастья поищу. Чай, свет на твоей Настеньке не клином сошелся... Или с теми посижу, очень они меня звали... Напоследок, к рассвету rendezvous²⁰ здесь: столик за нами оставят, меня знают. Впрочем, ежели хочешь, заплати метру сейчас. И считай за мной половину...

Он отошел, подозвал пальцем одного из мальчиков и пошептался с ним, показывая глазами на Штаалья. Мальчик кивал головой с видом полного одобрения.

– Все будет сделано, – успокоительно заметил Иванчук, возвращаясь к Штаалю. – Через полчаса он за тобой зайдет и покажет дорогу в избушку... Дай-ка ему что-нибудь вперед для поощрения. Ну, зачем так много?..

¹⁹ Они не привлекательны (франц.).

²⁰ Свидание (франц.).

13

В большой комнате начинался новый музыкальный номер. Так как публики было мало, управляющий кабачка решил, что выпускать весь цыганский хор не стоит. Цыгане, открытые еще не очень давно Алексеем Орловым, все больше входили в моду и из разных стран стекались в Москву и Петербург: в Европе их пение, по странному душевному сродству волнующее русских людей, неизменно вызывало смех. В ту минуту, когда Иванчук и Штааль входили в большую комнату, безобразная цыганка, одна из наиболее известных в столице, уже сидела на стуле, скаля зубы и перебирая на коленях красный платок, очевидно взятый ею, чтобы занять руки (как опытные ораторы на трибуне припасают для этого карандаш или свернутую тетрадку). Рядом с цыганкой на низеньком табурете поместился молодой гитарист, который, собственно, не был цыганом и, видимо, очень об этом сожалел: по крайней мере, играл он с необыкновенной цыганской удалью, производя и пальцами, и плечами, и ногами, и глазами гораздо больше движений, чем было нужно. За стулом цыганки стоял высокий пожилой цыган, немного поддельвавшийся под Алексея Орлова, который был кумиром всех цыган, осанкой и одеждой (только камни, заливавшие его нелепый костюм, даже издали не походили на настоящие бриллианты). Игроки с веерами карт в руках повернулись на стульях вполоборота. Штааль и Иванчук поспешно на цыпочках прошли мимо певицы, получив от нее на ходу отдельную извиняющую их улыбку, и уселись за стол, неслышно отодвинув стулья. Настенька сделала обиженное лицо (она действительно была немного обижена, больше на Иванчука, за то, что ее оставили одну). Штааль умоляюще-нежно посмотрел на нее: она тотчас его простила.

В ту самую минуту, когда певица стерла улыбку и перестала скалить зубы, дверь с шумом отворилась и в комнату не торопясь вошел грузный, старый, неряшливо одетый человек. На него зашикали с легким смехом. Певица сердито посмотрела на вошедшего и сделала знак гитаристу, который с удовольствием начал наново вступление. Старый человек принял виноватый вид, сел за первый свободный столик, рядом с игроками, и пробормотал довольно громко:

– Не буду, не буду, красавица... Тсс!..

Игроки с неудовольствием переглянулись, тотчас собрали веера карт и демонстративно положили их на стол. Один из них накрыл даже свою игру пепельницей. Грузный господин укоризненно покачал головой и еще раз внушительно протянул:

– Тсс...

Иванчук успел шепотом объяснить Настеньке и Штаалю, что это старый шулер, когда-то гремевший по всей России, но давно поконченный и отпетый. С ним решается играть один Женя... (он назвал титулованную фамилию), но и то лишь в комнате без зеркал, своими картами и с условием, чтобы партнер был без манжет и не имел в руках ни часов, ни табакерки, ни других предметов с блестящей отражающей поверхностью. Настенька с ужасом уставилась на шулера.

Вступление дошло до нужного места, и запел высокий цыган. По лицу его никак нельзя было бы понять, что именно он поет – грустное или веселое. Глаза его и высоко поднятые внутренние концы бровей изображали крайнюю тоску, но скулы и рот улыбались – это придавало ему глупый вид. Никакого голоса у него не оставалось – он, собственно, только подготавливал слушателей к пению цыганки. После того как она начала петь, цыган лишь делал вид, что поет. Ее же с напряженным вниманием слушали все в комнате, кроме двух или трех совершенно невосприимчивых к музыке людей. Улыбка на лице безобразной цыганки стерлась. Туловище ее и руки, сложенные на коленях, были совершенно неподвижны, и только голова постепенно тяжело раскачивалась все больше – стекла, висевшие на цепочках в ее ушах, так и ходили. Шулер облокотился на стол и закрыл лицо руками, точно скрывая рыдания. Он действительно плакал, но не столько от ее пения, сколько потому, что ночью, от вина и обид за день, его все-

гда клонило к слезам. Штааль слушал напряженно, глядя то на певицу, то на Настеньку. Он не знал, как расценивается знатоками эта странная музыка, и потому не имел о ней мнения (подобно людям гораздо более взрослым, умным, самостоятельным, чем он, Штааль в своих оценках невольно считался с общепринятыми, даже тогда, когда сильно от них отступал). Но он по природе не был лжив и невольно, хоть нерешительно, чувствовал, что никакие знаменитые кастраты, ни одна итальянская опера не волновали его так, как это дикое пение. Цыганка была чрезвычайно ему противна. Он думал, что она, должно быть, очень грязна, и старался на нее не смотреть. Но от ее пения страсть его к Настеньке росла. Настеньку тоже волновала музыка, особенно потому, что она чувствовала, как он был взволнован. Ее волнение было бы еще сильнее, если б она не смотрела на певицу (ей некуда было девать взгляд: на Штааля она смотреть не могла, а на других мужчин – боялась). В цыганке же ее развлекали разные вещи: и то, что руки у нее много темнее лица, и то, настоящие ли бриллианты в ее ушах или нет, и если настоящие, то сколько они могут стоить и от кого она их получила. «Нравится она ему? – тревожно думала Настенька, сравнивая себя с цыганкой. – Я, правда, возьму лицом, но если она так поет?.. Ну и Бог с ним, мне ничего не надо», – взволнованно-ревниво подумала она, оскорбленная его предпочтением цыганки, и вдруг, поспешным косым взглядом оглянувшись на Штааля, покраснела до ушей: не чувствовала до того его взгляда (из-за множества людей в комнате). То, что краска бросилась ей в лицо, доставило Штаалю наслаждение.

Пение окончилось, аккомпаниатор молодецкато взмахнул гитарой, привлекая и на себя часть внимания публики, певица кокетливо оскалила зубы. Иванчук покровительственно похлопал со всей публикой и, обратившись к Настеньке, заметил, что музыка делает в России, слава Богу, большие успехи. Покойный граф Скавронский, Петя, был, например, так музыкален, что разговаривал с прислугой не иначе как по нотам, речитативами, и отлично выучил прислугу: кучера должны были на вопросы отвечать ему октавой басами, выездные лакеи – тенорами, а фореиторы – дишкантами.

Сказав это, Иванчук заметил в дверях мальчика, подававшего знаки, толкнул Штааля в бок и произнес с хитрым видом (очевидно, вперед придумал), тоном, не допускающим спора: – Ну, теперь, дети, пойдем погулять – душно. А там поиграем в кегли...

Штааль встал, Настенька покорно поднялась с места, даже не удивившись, где и зачем ночью играть в кегли.

Когда швейцар подавал им шубы, Иванчук, еще пошептавшись с мальчиком, сказал Штаалю на ухо:

– За кегельбаном избушка, по правой стороне. Мальчик будет вас там ждать... Так прямо и идите.

14

Кегельбан и тир, обязательные во всех увеселительных заведениях, были расположены поблизости, в длинном деревянном бараке. Поздно ночью туда редко ходили гости, и незапирившийся барак освещен был слабо. Прислуги уже не было. Иванчук, сопровождавший их до дверей барака, сказал ласково: «Поиграйте, детки, в кегли или во что хотите» – и исчез. Они вошли в полуосвещенное здание, пахло приятным запахом сожженных пистонов. У Настеньки немного кружилась голова от портера, от музыки, от усталости, от вечера в обществе красивых, хорошо одетых мужчин, всего больше от его близости. Штааль, прижимая локтем руку Настеньки, подвел ее к тире (он очень волновался) и подал ей пистолет. Настенька с испуганной улыбкой отвела его руку – она боялась оружия. Штааль быстро прицелился и выстрелил в мишень. К большому его удовольствию, из мишени выскочила с шипеньем какая-то фигура. Запахло приятно. Настенька ахнула от силы звука и от изумления перед искусством стрелка.

– Вот, должно быть, страшно, ежели с вами у кого поединок, – сказала она, чтобы доставить ему удовольствие (он действительно так и просиял). – Вы, чай, стрелялись?

– Собственно... нет, – процедил Штааль несколько загадочным тоном, давая понять, что ведь не всю правду и скажешь о таких предметах. Настенька недоверчиво на него посмотрела и покачала головой.

– Выстрелите еще – тому арапу в брюхо, – сказала она и смутилась: не знала, прилично ли было сказать – в брюхо.

– Нет, Настенька, темно, плохо вижу, – ответил Штааль, не желая рисковать репутацией. – А вот в кегли давайте поиграем...

Он взял из огромного ящика шершавый шар и с поклоном (чувствовал себя бретером и маркизом) подал Настеньке. Она поправила шубу, неумело, сама улыбаясь своей неумелости, высоко подняла шар над головой и сверху вниз бросила его на узкую деревянную дорожку. Шар докатился почти до конца и слетел с дорожки на песок почти у самой площадки, над которой горели два фонаря. Штааль побежал за шаром (были в ящике и другие шары, но он хотел бросить Настенькин), принес его и сказал тихо:

– Настенька, пари? Сейчас собью короля...

– Ан не собьете.

– Пари... Если собью, я вас расцелую...

– Ну вот еще!.. Верно, выпили много?.. А если не собьете?

– Что хотите... – прошептал он, замирая от счастья, и быстро стал на ее место перед дорожкой, чтобы закрепить условие. Прицелился, как мог, старательнее, чем когда-то в училище, и, раскачав, бросил шар, который покатился по средней доске дорожки и вошел в темную полосу посредине кегельбана. Штааль еще успел оглянуться на смущенную Настеньку. Шар появился в полосе, освещенной крайними фонарями, ровно по средней доске вошел на площадку и сбил переднюю кеглю, за которой пошатнулся и упал король. Настенька вскрикнула, засмеялась и выбежала из барака. Штааль бросился за ней и нагнал ее: она шла, поспешно оглядываясь, не к «Кабачку», а в противоположную сторону. Там, по его соображениям, должна была находиться избушка...

– Не смеете, не смеете, – говорила, быстро оглядываясь, Настенька, ясно чувствуя, что он смеет и сделает. Дорога уходила в темноту. Свет «Красного кабачка» слабел. Дул довольно сильный ветер, не зимний, а осенний, шумный и нехолодный. На беззвездном, безлунном небе творилось что-то непонятное, быстро куда-то неслись черные скользящие громады... Вдали, на высоте, в старой лефортовой усадьбе, расположенной по другую сторону дороги, редкими красными четырехугольниками горели окна. Да еще откуда-то странный одинокий фонарь светился звездой, – казалось, легко было сосчитать ее иглы. В той стороне, по преданию, был

Петровский редут. Таинственное поэтическое чувство, которое всегда темной ночью вызывает светящийся издали огонь, охватило Штааля и Настеньку. Они остановились. Настенька оставила муфту у швейцара и не знала, куда девать руки. Штааль схватил их, сжал и почти прилонил свое лицо к лицу Настеньки. Она ждала поцелуя, но он не поцеловал ее, точно хотел продлить удовольствие.

– Настенька, что я сказал?

– Глупости... На девятом взводе сказали...

– Что я сказал, Настенька? – повторил он, еще крепче сжимая ее руки.

– Поцелую, сказали... Глупости... – прошептала она, подчиняясь с наслаждением его властному тону.

– Неправда, не «поцелую»: я сказал, «расцелую»...

Штааль быстро привлек к себе Настеньку и поцеловал ее – нежно, легко, осторожно, совсем не так, как собирался.

– Теперь умереть, – прошептал он.

Настенька благодарно на него взглянула, хоть ей, как и ему, нисколько не хотелось умереть в эту минуту. Он неохотно ее выпустил (ей тоже стало жалко), и они быстро пошли вперед... Ветер рванул с воем. Небо становилось все страшнее. Им вдруг стало неуютно. Точно что-то внезапно изменилось и начало быстро слабеть... Не говоря ни слова, они шли дальше. Тревога их все нарастала. Вдруг откуда-то сверкнул красный огонек, и ломающийся голос окликнул:

– Здесь, барин...

Штааль вздрогнул. Мальчик с красным фонарем в руке выступил из-за избушки, стоявшей в нескольких сажнях от дороги. Настенька с ужасом на него глядела. Мальчик поставил фонарь на землю и принялся огромным ключом отпирать тугой замок. Штааль суетился и говорил Настеньке что-то несвязное, чувствуя, что вышло нехорошо. Верх замка поднялся. Мальчик снял замок, освободил скобку, потащил к себе дверь, туго поддававшуюся снизу, и внес дрожащий фонарь в избу.

– Настенька, войдем... Холодно... На минуту... Отдохнуть, Настенька... – говорил Штааль, почти насильно втаскивая ее в избу.

Мальчик зажег свечой фонаря восковую свечу, прикрывая ее от ветра красными грязными руками. Свеча тотчас погасла. Он снова зажег и поспешно надел колпак. В избе все было как в кабинете ресторана: ковер, бархатный диван с помятыми подушками, кресла. На столе, около тарелки с фруктами, лежали апельсиновые корки и был разбросан пепел, понесшийся по избе от ветра. На полу стояли лужи от занесенного сапогами снега.

– Но как же не убрали? – вскрикнул Штааль с порога.

Он чувствовал все яснее, что вышло очень нехорошо, что совсем, совсем не вышло. «Этот пепел!..» Мальчик, глупо улыбаясь, смотрел на господ и, видимо, ждал денег. Штааль поспешно дал ему на чай.

– Пошел вон! – сказал он сердито.

– Ключ, барин, потом, когда запрете, не забудьте захватить, – напомнил, исчезая, мальчик.

– Настенька, присядьте, умоляю вас, – прошептал Штааль дрожащим голосом.

Быть может, этим он окончательно испортил свое дело. Его мольба и отчаянный вид испугали Настеньку. Она покачала отрицательно головой, не спуская с него глаз, и попятилась к выходу... Ветер рванулся в избу и погасил свечи. Настенька вскрикнула. Тотчас, с болью и облегчением, Штааль почувствовал, что ничего не будет...

Он больше ее не удерживал, хоть продолжал, весь бледный, говорить бессвязные слова...

Часть вторая

1

К послу султана Эссеиду-Али был приставлен Директорией чиновник министерства иностранных дел, свободно говоривший по-турецки: посол никогда не был во Франции и французским языком владел плохо. В сопровождении чиновника Эссеид-Али в день своего прибытия в Париж осматривал с утра город, разъезжая в роскошной коляске, на запятках которой стояли два раба – один в синем, другой в красном костюме. Рабы были огромного роста, лица у них были зверские, и чиновник министерства иностранных дел, сидя рядом с послом в коляске, все время ежился, неприятно ощущая за своей спиной присутствие этих диких людей. Прохожие останавливались на улице и смотрели, выпучив глаза, на странную коляску, затем, догадавшись, в чем дело (о приезде посла уже сообщили газеты), радостно повторяли: «Le grand Turc!», «Voilà l'envoyé du grand Turc!..»²¹ И только один хмурый человек в якобинском костюме с синим воротником, глядя в упор на Эссеида-Али, закричал со злобой: «Vive la République!»²²

Посол, красивый горбоносый турок с черными глупыми глазами, все время нервно разглаживал холеной большой рукою в перстнях длинную черную бороду. Эссеид-Али чувствовал себя в Париже неловко. В этот день был назначен его торжественный прием у Директории. Он не знал, кроме министра иностранных дел, никого из людей, составлявших французское правительство, и даже в их именах разбирался плохо. Он вообще знал очень мало. Но ему было известно, что люди эти, незнатной породы, отрубили голову своему султану, и в суждении Эссеида-Али они мало отличались от тех мужиков-инородцев, называвших себя армянами, сербами, молдовалахами, македонцами, которые иногда ни с того ни с сего устраивали кровавые восстания и убивали своих законных господ. Этих мужиков потом усмиряли султанские войска: сжигали деревни, вырезывали часть населения, а главных зачинщиков сажали на кол. В подобных усмирениях не раз участвовал и сам Эссеид-Али, владевший огромными поместьями на берегах Дуная. Именно так, по общему складу мыслей посла, следовало поступить с французскими мужиками, к которым он был прислан. Но по соображениям, известным султану Селиму, так поступить с ними было теперь невозможно: послу, напротив, предписывалось соблюдать в сношениях с Директорией особую любезность. Он строго соблюдал то, что ему предписывалось. Кроме того, Париж в отличие от болгарских, македонских и молдовалашских деревень, при усмирении которых случалось присутствовать Эссеиду-Али, сразу чрезвычайно ему понравился. Глядя бороду рукою, поглядывая на залитые солнцем улицы, на нарядных женщин с незакрытыми лицами, посол думал, что французский город будет жалко сжечь, если сюда султан Селим для усмирения пошлет свои войска. Эти мысли удивляли Эссеида и немного утомляли: он не привык работать головою. Еще более озадачивало его то, что министр иностранных дел по имени Талейран, которого он успел повидать, производил при первом знакомстве хорошее впечатление. Эссеиду-Али даже показалось, что такой министр по уму, обращению и манерам вполне мог бы занимать место во дворце падишаха. Этого человека тоже, несомненно, жаль было бы посадить на кол.

Когда коляска посла выехала на площадь Революции, чиновник приказал кучеру остановиться и пригласил посла полюбоваться самой прекрасной площадью в мире. Очевидная ложь вызвала презрительную усмешку на лице Эссеида-Али: площадь Баязета в Стамбуле была, бесспорно, много красивее. Но и эта тоже была хороша в своем роде. Эссеид кивнул чиновнику

²¹ «Великий турок!», «Вот посланец великого турка!..» (франц.)

²² «Да здравствует Республика!» (франц.)

головой и неторопливо вышел из коляски, опираясь на рабов, которые мигом соскочили с запяток. Он благосклонно окинул взором площадь, пышные деревья Тюльерийского сада, стройные колоннады *Garde meuble*'я, вынул из кармана платок, вытер лоб и выжидательно уставился на чиновника, как бы приглашая его рассказать о площади еще какую-нибудь выдумку, которую из вежливости нельзя, да и не стоит опровергать. Спутник Эссеида, очень утомленный двухчасовой поездкой – говорил почти исключительно он один, – вздохнул и сообщил послу, что на месте, на котором они стояли, четыре года тому назад была отрублена голова короля Людовика XVI. Эссеид вдруг остолбенел. Чиновник подробно рассказал, где стояла машина, отрубившая голову королю, и показал статую Свободы, к подножию которой эта голова упала. Статуя Свободы, выкрашенная в розовый цвет, находилась в очень дурном состоянии. Обветренная, размытая дождями, она осыпалась повсюду – от ее груди и от шеи оставалось очень немного. Со скуки, не зная, как заполнить положенное на прогулку время, чиновник начал было переводить послу надпись на статуе Свободы: «*Elle est assise sur les ruines de la tyrannie. La posterite...*»²³ Но оказалось, что весь конец надписи был совершенно размыт дождем, и чиновник так и не мог вспомнить, что именно должна была сделать «*la posterite*». Это его, впрочем, не смутило, и он дополнил надпись от себя, приблизительно соображая, в каком духе она могла быть составлена. Но, взглянув во время рассказа на лицо Эссеида-Али, чиновник сразу замолчал, сконфуженно подумав, что послу султана Селима лучше было бы показывать что-либо другое. Они сели в коляску, и разговор не завязывался некоторое время. Выезжая с площади мимо отеля «Инфантадо», в котором все еще производилась продажа с аукциона имущества казненных аристократов, Эссеид-Али высунулся из коляски, оглянулся на площадь и плюнул, не обращая внимания на своего спутника. Чиновник долго не знал, как это понять и принять. К большому его облегчению, им как раз в это время повстречался известный всему Парижу экипаж артистки Анны Ланж, отправлявшейся на катание в Пасси. Чиновник почтиительно с ней раскланялся и взором знатока оглядел ее дюплановский светлый парик и модное платье *a la vestale*,²⁴ стараясь запомнить все подробности для того, чтобы рассказать сослуживцам и самому министру. Мадемуазель Ланж, вместе с госпожой Тальен, была первой модницей Парижа. Говорили, что в ее гардеробе насчитывалось около тысячи платьев, тридцать париков, пятьсот пар туфель и дюжина рубашек. Посол тоже, видимо, заинтересовался красавицей. Морщины на его лице немного разошлись, и глупые глаза стали менее суровы. Он вопросительно посмотрел на своего спутника. С удовольствием переводя разговор на другой предмет и желая поразить воображение Эссеида-Али, чиновник сообщил ему, что мадемуазель Ланж самая дорогая из всех женщин в мире и что она берет не менее тысячи ливров в час. Посол задумался, затем вынул из кармана мешочек с деньгами, отсчитал двенадцать тысяч ливров и, передавая эту сумму растерявшемуся чиновнику, попросил вечером привести мадемуазель Ланж к нему на квартиру.

²³ «Она воздвигнута на руинах тирании. Потомство...» (франц.)

²⁴ В стиле весталки (франц.).

2

Принимать турецкого посла первоначально предполагалось в одной из зал Большого Люксембургского дворца. Но потом по разным причинам решено было устроить церемонию во дворе. Ожидалось огромное стечение публики. Директоры хотели обставить прием торжественно: народ отвык от церемоний и особенно от участия в них представителей чужих государств. Сношения с большими державами все не налаживались: иностранные дипломаты в Париже были преимущественно второго сорта. Пышный прием так кстати прибывшего настоящего, да еще столь живописного посла должен был доставить развлечение парижанам и заодно поднять внутри страны престиж революционного правительства. А поднять престиж было очень нужно. Члены Директории чувствовали страшную ненависть, которая их окружала и могла прорваться наружу каждую минуту. Их безграничная власть им самим порою казалась сказкой, затянувшимся сном. Они знали, могли вспомнить и рассказать, как и когда эта власть им досталась. Они делали вид, будто всегда к ней готовились и не находят в своей судьбе ничего удивительного и неестественного. Но долгие десятилетия предыдущей их жизни, бедной, незаметной и бесшумной, тем не менее преобладали в их сознании над тем, что было теперь, и члены Директории так же не могли привыкнуть к привалившему счастью, как не могли подумывать без ужаса о возможном его конце. Они то верили, то теряли веру в свою прочность и, когда теряли, начинали метаться и выискивать заговоры. В обществе происходило то же чередование настроений. Одни и те же люди иногда с изумлением себя спрашивали, каким чудом это еще существует; иногда с усталой безнадежностью говорили, что это будет существовать вечно. Иностранцы, очень желавшие знать мнение французского народа, решительно ничего не могли понять.

Церемониал приема султанского посла был старательно выработан членом Директории Бартеlemi при помощи бывших дипломатов королевской службы, по лучшим образцам венского и лондонского этикета, чуть измененным для надобностей этикета революции. Представить посла Директории должен был новый министр иностранных дел Талейран де Перигор, бывший епископ Отенский.

Никто не мог понять, каким образом прошел в правительство этот, уже в ту пору почти легендарный человек, одинаково ненавистный всем партиям – якобинцам, умеренным, роялистам. Посвященные люди говорили, будто должность министра доставила бывшему епископу его новая любовница, госпожа Сталь, и тонко улыбались, упоминая о цене, какою известная писательница выпросила эту должность у Барраса, самого влиятельного из членов Директории. Но люди не менее посвященные отрицали сплетню и утверждали, что любовником госпожи Сталь состоит ее долговязый приятель Бенжамен Констан и что она, ради оригинальности, никогда не имеет одновременно несколько любовников. О взглядах и намерениях Талейрана говорили разное. Одни говорили, будто он сторонник партии Барраса, другие думали, что бывший епископ связался с Карно; третьи высказывали догадку, уж не подготавливает ли Талейран возвращение династии Бурбонов.

В день приема Эссеида-Али в Малом Люксембургском дворце, в котором жили члены Директории, с утра было волнение. Дворец был разделен на пять квартир, а сад при нем разбит заборами на пять участков. Между семьями разных жильцов дворца давно велась ожесточенная война. Жены директоров ненавидели друг друга еще больше, чем их мужья, и взаимная ненависть жен была не только следствием (как все думали), но отчасти и причиной раздоров, происходивших в Директории.

По городу упорно ходили слухи, будто три директора, Баррас, Рейбель и Ларевельер-Лепо, готовят государственный переворот и собираются отправить в Кайенну или даже подстрелить в суматохе своих двух товарищей по Директории – Карно и Бартеlemi. С дру-

гой стороны, говорили, что Карно вступил в переговоры с темными людьми, которые брались за приличное вознаграждение зарезать Барраса и Ларевельера. Эти слухи становились немедленно известными всем жильцам Малого Люксембургского дворца и почти ни у кого не встречали особенного недоверия.

День церемонии выдался очень жаркий. С раннего утра госпожа Рейбель, не первой молодости женщина с чрезвычайно энергичным выражением лица, читала газеты, сидя в кресле в своем участке сада. За забором три женщины в белых платьях – госпожа Карно и ее сестры – склонились над повозочкой, в которой отчаянно кричал ребенок, маленький сын Карно, названный отцом Сади в честь восточного мудреца. И ребенок этот, почти неумолчно кричавший целый день, и его мать, женщина слабого здоровья, нуждавшаяся в постоянном уходе, составляли предмет жгучей ненависти госпожи Рейбель. Демонстративно держа перед собой газету, она упорно делала вид, что не замечает и не желает замечать существования людей в соседнем участке сада.

С улицы донесся грохот замедлявшей ход тяжелой кареты. Послышался звонок. Госпожа Рейбель, взглянув поверх невысокого забора, увидела во дворе Малого Люксембургского дворца Талейрана в парадном костюме, радостно поднялась с места, уронив газету, и окликнула министра. Он оглянулся, подавил движение досады и с восхищенной улыбкой на лице вошел со двора в сад.

Как все женщины, госпожа Рейбель чувствовала к бывшему епископу Отенскому большое расположение, смешанное еще с чем-то другим. Хотя по своему служебному положению, как министр, подчиненный директорам, он был значительно ниже ее мужа, госпожа Рейбель никого в революционном правительстве не ценила так высоко, как Талейрана, – и потому, что он принадлежал к старой аристократии, и потому, что она еще задолго до революции слышала имя епископа Отенского, рассказы об его уме, дарованиях и успехах у женщин. Талейран с нежной улыбкой поцеловал обе руки госпожи Рейбель, потом повернул ее правую руку ладонью вверх и, не выпуская, поцеловал снова у рукава. Потянулся он к руке госпожи Рейбель так, как поцеловал бы руку у самого Рейбеля, если б это допускалось приличием. Но лишь только он коснулся губами пульса ее руки, ему вдруг показалось, что госпожа Рейбель, в сущности, не так нехороша собой и даже в ее лице есть что-то такое: для Талейрана уже не существовало некрасивых женщин. Госпожа Рейбель застыдилась, тем более что ногти правой руки были у нее не совсем чисты. Талейран молча восторженно улыбался и, по-видимому, не спешил завязать разговор. Госпожа Рейбель, оглянувшись в сторону садика Карно, стала расспрашивать о новостях. Талейран тотчас остыл. Он нехотя рассказал новости (очень не любил разговаривать с женщинами о политике), затем стал объяснять церемониал приема турецкого посла.

Из-за забора донесся крик ребенка. Три женщины в белых платьях засуетились над повозочкой.

– Sadi, toujours Sadi, – сказала, насмешливо подмигивая, госпожа Рейбель. – Il crie jour et nuit... Pas une minute de repos!..²⁵

Талейран сочувственно покачал головой.

– Et puis on s'appelle Paul, Jean, Pierre, ou bien Brutus, Gracchus, Lycurgue, mais on ne s'appelle pas Sadi! C'est ridicule, n'est-ce pas, citoyen ministre? Ces gens ne savent pas vivre...²⁶

Они еще поговорили. Госпожа Рейбель, опустив глаза и слегка покраснев, спросила министра, правда ли, будто Баррас продал или продает свою любовницу, госпожу Тальен, разбогатевшему банкиру Уврару. Талейран подтвердил слух: сделка уже почти налажена, и это тем большая удача для Барраса, что Уврар вовсе не собирался покупать госпожу Тальен, – она

²⁵ Сади, все время Сади... Он кричит день и ночь... Нет ни минуты покоя! (франц.)

²⁶ И пусть бы его звали Полем, Жаном, Пьером или же Брутом, Гракхом, Ликургом, но не Сади! Это смешно, не правда ли, гражданин министр? Эти люди не умеют жить... (франц.)

ему не настолько нравится, чтобы платить за нее бешенные деньги. Госпожа Рейбель, окончательно покраснев, всплеснула руками – и тут только Талейран вспомнил, что ему нужно было выразить возмущение цинизмом Барраса. Он и сделал это с полной готовностью.

– А где ваш муж? – спросил он, подыскивая способ ускользнуть поскорее.

– Работает, конечно, как всегда: все выносит на своих плечах, – ответила госпожа Рейбель, на лице которой при этих словах изобразилась беззаветная готовность помочь мужу в его тяжелом труде. Госпожа Рейбель часто говорила о себе и еще раз при случае повторила Талейрану, что в отличие от некоторых других жен она настоящая подруга жизни своего мужа, разделяет его убеждения, симпатии, интересы, согревает его женской любовью и создает ему семейный уют для того, чтобы он мог спокойно делать свое дело. Подруги жизни составляли род женщин, которого совершенно не выносил Талейран. Он взглянул на госпожу Рейбель и почувствовал, что ошибся: она была точно нехороша собою, и ничего такого в ее лице не было. Дослушав ее слова, он посмотрел на часы, сделал испуганное движение, простился и вошел в вестибюль дворца.

Еще поднимаясь по лестнице, Талейран услышал резко повышенные голоса, доносившиеся из малой гостиной. Дверь была открыта. Войдя в эту комнату, он увидел, что там происходила ссора. Директоры, все в парадной форме, в синих, расшитых золотом костюмах, в белых жилетах и при шпагах, были чрезвычайно взволнованы. Баррас и Карно стояли друг против друга с лицами, искаженными злобой, со сжатыми кулаками, – точно готовясь вступить в драку. Грузный Бартелеми, задыхаясь в тяжелом костюме, откинулся в глубоком кресле и, оттягивая левой рукой концы синего шарфа, обмахивал себя огромной шляпой, на которой висела трехцветная лента и шаталось плохо всаженное страусовое перо. Горбатый Ларевельер-Лепо кротко, с умоляющим видом, повторял:

– *Tranquillisez-vous, citoyens... Voyons, mes chers col-legues...*²⁷

Но его никто не слушал. Талейран видел, что Баррас нарочно в себе усиливает бешенство. «Чего он хочет?» – спросил себя бывший епископ. Он знал вспыльчивый характер Барраса, но по долгому опыту жизни вообще плохо верил во вспыльчивость: много раз замечал, что это чувство проявляется только тогда, когда его можно проявлять, и видел, что самые горячие люди прекрасно себя сдерживают, если положение и особенности тех, с кем они имеют дело, не допускают вспышек гнева... «Чего он хочет? – спросил себя Талейран, слушая раскаты могучего баритона Барраса. – Разрыва? Но почему же именно сегодня?»

– Ты!.. Ты!.. – кричал Баррас. – Ты назначил главнокомандующим Бонапарта? Так ты ему пишешь, да? Лжец! Где ты был девятого термидора? Ты тогда прятался, тихоня! Ты сам с твоим другом Робеспьером резал людей!

– Неправда! Ты лжешь!..

– Подлец! Ты думаешь, я не видел ваших комитетских бумаг? На всех приказах о предании суду твоя гнусная подпись! Ты подписывался с краешка бумаги мелко-мелко! Ты не читал того, что ты подписывал, да? Или ты, может быть, не знал, что такое означало при Робеспьере предание суду революционного трибунала? Наивное дитя! Рассказывай это дуракам!..

– Ты лжешь, Баррас!.. Я не занимался внутренними делами, я создавал армию... Я организовал победу... Ты смеешь меня попрекать кровью? Сколько тысяч людей ты сам перерезал на юге?.. Ты – провокатор! Ты нарочно теперь готовишь вспышку народной ярости, чтобы перерезать своих противников!..

– Подлец! Это ты хочешь выдать нас всех своим новым друзьям-роялистам! Но погоди!..

Баррас с ненавистью смотрел на Карно, как будто соображая, ударить ли его или нет. Умное тонкое лицо организатора победы совершенно побелело от гнева. Его рука привычным движением тянулась к эфесу шпаги. Но на боку на этот раз у него висела не обычная офицер-

²⁷ Успокойтесь, граждане... Полноте, дорогие коллеги... (франц.)

ская, а бутафорская шпага директора – ее и вынуть не так было легко из узких блестящих ножен. Не спуская горящих серо-зеленых глаз с Барраса, Карно инстинктивно готовился отбить удар противника, если тот вправду полезет в драку.

– Господа, турецкий посол будет здесь через четверть часа, – бесстрастно, ровным негромким голосом сказал Талейран. – Вы правительство, господа, – неожиданно добавил он – и против воли министра в его интонации вдруг проскользнуло совершенное презрение (он тотчас об этом пожалел).

– *Voyons, citoyens!*²⁸ – снова заговорил кроткий Ларевельер-Лепо.

Директоры опомнились. Баррас презрительно фыркнул, сорвал с кресла синюю мантию и, эффектно перебросив ее через плечо, вышел из гостиной, хлопнув дверью, не очень крепко, но так, чтобы всем было ясно, что он не запер дверь, а именно хлопнул ею. Карно саркастически засмеялся, хотя ему было вовсе не смешно.

– *Il faut en finir!*²⁹ – угрожающе-неопределенно сказал он, сердито глядя на Талейрана, которого он очень не любил и чье замечание поразило его своей дерзостью.

Бартелеми облегченно заговорил с Ларевельером в примирительном духе: в сущности, вышло простое недоразумение. Они хотели восстановить, из-за чего началась ссора, но не могли: ее причиной была ненависть директоров друг к другу, а прямого повода не было никакого. Рейбель, плотный краснолицый веселый адвокат, отвел Талейрана в сторону и шепотом спросил его, не знает ли он, сколько именно денег получил Баррас за продажу Увару госпожи Тальен. Талейран, не задумываясь, назвал очень крупную сумму. На лице Рейбеля выразилось возмущение, смешанное с восторгом: такой суммы он никак не ожидал.

– *Nom de Dieu!*³⁰ – воскликнул он, и в вырвавшемся у него восклицании вдруг сказался эльзасский акцент, от которого он сумел себя отучить.

Директоры надели мантии и спустились по лестнице. Внизу в вестибюле стоял, охорашиваясь перед зеркалом, Баррас. Он как ни в чем не бывало подошел к Рейбелю и весело с ним заговорил. Швейцар открыл двери настежь. Карно, очередной председатель Директории, прошел первый. Баррас, нарочно задерживая Рейбеля, пропустил вперед и Ларевельера, и Бартелеми, подчеркивая этим, что первое место здесь не имеет никакого значения.

На дворе перед двухэтажным серым фасадом Малого Люксембургского дворца выстроилась гвардия Директории. При выходе Карно послышались слова команды. Гвардия взяла на караул. Забили барабаны. Карно торопливо пошел по направлению к Большому дворцу, все ускоряя шаги и видимо стараясь возможно скорее пройти мимо игрушечного фронта. Талейран сдерживал усмешку: ему вдруг стало как-то особенно ясно, что все это – глупая затянувшаяся шутка. Но у других членов правительства при грозном звуке барабанов краска радости и счастья бросилась в лицо: да, это для них выстроилась гвардия, это для них бьют барабаны, это они хозяева государства, они принимают султанского посла в старом дворце Медичи по церемониалу, выработанному герцогами и князьями, которые до них правили Францией. Рейбель молодцевато выпрямился, свел по-военному свои тонкие ноги, окинул взором гвардию и с достоинством отвесил два поклона – направо и налево. Вид его свидетельствовал о том, что он, хотя человек штатский, но революционный сановник, любит армию и знает ее обычаи. Ларевельер ласково улыбался, стараясь привлечь сердце народа кротостью и республиканской простотой обращения. Баррас догнал Карно и пошел все-таки рядом с ним, стараясь на него не смотреть. За ними, задыхаясь от жары и путаясь в длинной синей мантии, мелкими шажками бежал Бартелеми. У солдат и офицеров гвардии вид был угрюмый. Со стороны Большого Люксембургского дворца музыка заиграла «Марсельезу».

²⁸ Полно, граждане (*франц.*).

²⁹ Пора с этим покончить! (*франц.*)

³⁰ Черт возьми! (*франц.*)

3

Эссеид-Али в двухцветном, бело-зеленом, тюрбане, в богатом горностаевом костюме, покрытом мантией фиолетового шелка, верхом на великолепной арабской лошади, которую вели под уздцы рабы, в сопровождении отряда конной гвардии подъехал к Большому Люксембургскому дворцу. Неторопливо сойдя с коня, не глядя на огромную толпу народа, заливавшую улицы, балконы, окна, крыши домов, не осматриваясь по сторонам и усиленно скрывая охватившее его любопытство и смущение, он медленно вошел в Большой дворец. Там его уже ждал министр иностранных дел. Посол молча обменялся с ним глубокими поклонами. Секретарь-турок из свиты Эссеида благоговейно подал ему кусок красного пергамента, завернутый в белую кисею. Эссеид-Али набожно поцеловал султанский фирман и положил его себе на голову. На другом конце залы кто-то фыркнул. Но посол этого не услышал – он из всех людей, находившихся в зале, видел только министра иностранных дел. Лицо бывшего епископа Отенского сияло умилением и ясно говорило, что он был бы счастлив прикоснуться губами к подписи султана Селима, но не имеет на это права. Эссеид снова оценил поведение умного христианина. Еще раз поклонившись друг другу (посол при этом поклоне поднял с головы вытянутыми руками султанский фирман), они спустились в большой двор, тоже залитый народом. Посреди двора были устроены эстрады для правительства и почетных гостей. При появлении турка в богатом наряде, с руками, поднятыми к голове, по двору, смешиваясь со звуками «Марсельезы», пронесся гул изумления. Ждали странного человека, но он оказался еще более странным, чем думали. Турок, однако, сразу очень понравился парижской публике – каждый тотчас почувствовал, что он понравился всем другим, и это еще увеличило общую симпатию к послу султана Селима. Оркестр замолк. Настала совершенная тишина. Приблизившись медленно к срединной эстраде, Эссеид снял с головы фирман, снова его поцеловал и отдал Карно. Председатель привстал, взял в руки пергамент, что-то пробормотал и всунул фирман Бартеlemi, который продержал его в руках до конца церемонии. Эссеид медленно низко поклонился три раза людям, сидевшим на эстраде. Директоры ответили ему поклоном. И тотчас чувство неудержимой радости с новой силой их охватило. Рейбель и Ларевельер-Лепо иронически себя настраивали в отношении турецкого дикаря и всей этой китайщины. Но улыбка самодовольства против их воли все шире расплывалась на их лицах. Бартеlemi гордо оглядывался по сторонам, точно приглашая публику оценить по достоинству выработанный им церемониал. Баррас с завистью смотрел на драгоценные камни, которыми с головы до ног был залит посол, и мысленно определял их цену. Только Карно чувствовал себя не в духе и с раздражением глядел на разукрашенного дикаря в меховом костюме. Ему хотелось возможно скорее кончить эту глупую церемонию и вернуться в свой кабинет к любимой работе над военной корреспонденцией, картами и планами кампаний. Вид многотысячной толпы волновал президента Директории – и раздражало его то, что после семи лет политической деятельности он был не в состоянии побороть в себе нервное возбуждение перед краткой пустой приветственной речью, которую должен был произнести.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.